



Захар ПРИЛЕПИН

**«О, РИТЬ
МЕНЯ
НА БОЙ»**

Денис Давыдов

С Давыдовым вообще никаких вопросов:

Я люблю кровавый бой,
Я рождён для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский —
С вами век мне золотой!

И точка. Верней, восклицательный знак.

16 июля (по старому стилю) 1784 года в Москве был рождён самый известный генерал из числа прославленных русских поэтов и самый известный поэт из числа прославленных русских генералов.

В русской литературе множество отменных вояк — больше чем на взвод, наберётся и на роту, и на батальон, — прошедших через несколько войн, совершивших подвиги, награждённых всеми мыслимыми наградами... Однако легендарный полководец и военный теоретик, чей опыт рассматривается в военных академиях, только один: Давыдов.

В числе русских полководцев были заметные литераторы: иные писали стихи, другие оставили стоящие мемуары. Но стать легендой и военной, и литературной — это и по мировым канонам нонсенс.

Давыдов мог написать больше, и место его в литературе имело шансы стать заметней; хотя он и так неоспорим. Но воевать больше он не мог точно, потому что кочевал с войны на войну три десятилетия кряду, и, хоть не дорос до генералиссимуса, народную славу заработал при жизни: ещё когда никакого Че не было в помине — бородатые портреты Давыдова шли нарасхват и у простолюдинов, и у аристократии, плененные и битые им в огромных количествах



Д.В. Давыдов

воины двенадцати языков прозвали его «чёрным вождём», а по числу поэтических посвящений он обгонял и старших по званию всему миру известных полководцев, и самого государя императора.

Итак.

По прямой линии Давыдов происходил от татарского князя Тангрикула Кайсыма. Летом 1468 года младший сын Кайсыма, царя Городца Мещерского, внук первого Казанского царя Улу-Магомеда, до этого бывшего ханом Золотой Орды, Минчак явился в Москву, присягнул на верность великому князю Ивану III, принял православие и стал в крещении Симеоном, Сёмкой. Городец-Мещерский с 1471 года в честь умершего царя Кайсыма стал носить его имя — Касимовское. (Отсюда городок Касимов в Рязанской области.)

С 1500 года Сёмкины дети уже имели вотчины в Нижегородской и Симбирской губерниях. Одного из своих сыновей назвал он Давыдом (форма еврейского имени Дауд). Давыд Семёнович стал родоначальником рода Давыдовых.

По этому поводу стихи Давыдова:

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный прадед мой, почтенный грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене лёгоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранню прю...

(«Графу П.А. Строганову», 1810)

Строки иронические, и в известном смысле — циничные: ведь «татарская рука» Чингисхана «рассекала» не абы кого, а предков тех самых россов, к которым со временем ордынские князья пошли в услужение.

Василий Денисович, отец нашего героя, был богат: имения в Московской, Орловской и Оренбургской областях. Он командовал Полтавским легкоконным полком, стоявшим в Полтавской губернии.

В 1788 году на маневрах под Полтавой четырёхлетний Денис видел императрицу Екатерину Великую. Сам того не помнил, но отец при случае напоминал: видел-видел, и она тебя.

«Забавы детства моего состояли в метании ружьём и в маршировании, а верх блаженства — в езде на казачьей лошади со спокойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска, — вспоминал Давыдов. — Как резвому ребёнку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря?»

В 1792 году корпус, куда входил легкоконный полк Василия Денисовича, перешёл в подчинение генерала-аншефа Александра Суворова.

«Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, — пишет Денис Давыдов, — но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время её путешествия в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не более ста шагов. Я и брат мой жили в лагере. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку не снятую. Я осведомился о причине такого неожиданного происшествия: мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона, в простой курьерской тележке...»

Воспоминания эти являются обязательными в любом очерке о Давыдове (начиная с Белинского); не отступим от традиции и мы.

«За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят «генерал-марш»... Но, невзирая на всё наше внимание, мы не слышали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в эту ночь, но никогда ни прежде, ни после этого не делал и что всё это была одна из выдумок и преувеличенных странностей, которые ему приписывали».

«...около десяти часов утра всё зашумело вокруг нашей палатки: «Скачет, скачет!» Мы выбежали и увидели Суворова во ста сажнях от нас, скачущего во всю прыть... Я был весь взор и внимание; весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу... впереди толпы Суворова, на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт и в лёгкой, маленькой солдатской каске... Когда он нёсся мимо нас, любимый адъютант его Тищенко закричал ему: «Граф! Что вы так скачете? Посмотрите, вон дети Василия Денисовича!» «Где они, где они?» — спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону... Он благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдата, друг мой?» «Я люблю графа Суворова; в нём все: и солдаты, и победа, и слава!» «О,

помилуй Бог, какой удалой! — сказал он. — Это будет военный человек, я не умру, а он уже три сражения выиграет!»

В другом своём сочинении Давыдов со свойственной ему иронией продолжит эту историю так: «Маленький повеса... замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека».

Зимой семья Давыдовых жила в Москве, лето проводила в родовом поместье Бородино — да, в том самом.

28 сентября 1801 года, шестнадцати лет, Денис Давыдов был зачислен эскадрон-юнкером в Кавалергардский, лучший в Российской императорской гвардии, полк. Спустя год он произведён в корнеты. Вообще расти в званиях Давыдов будет стремительно, до какого-то времени гораздо быстрее того же Суворова — который, к сожалению, побед Давыдова не дождался, ибо умер в 1800-м.

Изначально себя Давыдов проявит не на военном поприще, а на литературном. К 1803 году он вдруг сочинил три преостроумнейшие басни.

«Голова и ноги» — когда ноги говорят голове: «...можем иногда, споткнувшись — как же быть — / твоё могущество о камень расшибить».

«Река и зеркало» — о монархе, сетующем на критику и тем схожим с безобразным ребёнком, желающим разбить зеркало.

И «Орлица, Турухтан и Тетерев»: под Орлицей там имелась в виду Екатерина Великая («Любила истину, щедроты изливала»), под Турухтаном (птица кулик) — недавно убитый заговорщиками император Павел I, а под Тетеревом — находящийся на троне император Александр I («Хоть он глухая тварь, / Хоть он разиня бестолковый... / Но все в надежде той, / Что Тетерев глухой / Пойдёт стезёй Орлицы...»)

Ну и следом ещё сатирическую виршу «Сон», где прошёлся по петербургской знати, задев несколько вельможных особ, зато собственную персону описав всем на загляденье:

Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:

Откуда красота, откуда рост — смотрю;

Что слово — то *bons mots*, что взор — то страсть вселяю,

Дивлюся — как менять интриги успеваю! —

даром что и сам он таковым себе являлся лишь во сне (Давыдов был ростом мал, и круглая его наглая гусарская рожа с носом пуговкой образцом красоты не была, даже голос он имел высокий, как это порой называется «бабий», — в общем, как в том же стихотворении сказано: «носил с натяжкой название человека»).

В литературу Давыдов ворвался кавалерийским броском — никакого учебного периода не было: 19 лет — и сразу с классическими «шампанскими» текстами (правда, что по тем временам, что по нынешним — оглушительно нахальными).

Басни его и «Сон» разошлись в списках чуть шире, чем предполагал Давыдов.

Нужно понимать, что кавалергарды были наиболее близки к престолу и служили в буквальном смысле при дворе: внутренние караулы, дворцовые комнаты: то есть Денис Давыдов не раз видел Тетерева... тьфу ты, императора, лично, проходящего мимо, а тот мог обратить внимание на глазастого корнета.

Каково же было наказание? В 1804 году поручика Давыдова всего лишь перевели ротмистром в Белорусский гусарский полк, стоявший в Киевской губернии. Стоит оценить благородство молодого императора: поступить с этим наглецом он мог куда хуже.

По пути Давыдов узнал, что слава спешит впереди него — стоявшие за сотни вёрст гусары уже читали его стихи, долетевшие досюда, и в силу сих замечательных обстоятельств, ещё в Сумах, по пути к своему полку, Денис Васильевич устроил трёхдневную пьянку.

«Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, — пишет о себе Давыдов в третьем лице в «Автобиографии...», — покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду. В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцеву».

Кстати, тоже шедевр. Там Давыдов, зазывая в гости товарища, описывает своё новое житьё-бытьё:

Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса;
А на место ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар!

Давыдов явился поэтическим предвестником Пушкина, прямо говоря, случайно: он не собирался быть поэтом. Отсюда его восхитительная поэтическая легкомысленность — свободная жестикуляция, воздух, остроумие: всё то, что будет столь характерно для пушкинского гения. Если б Давыдов изначально собрался писать всерьёз, для публикаций, ничего подобного у него б не получилось — но, напротив, имела бы место некоторая выпренность. Давыдов же позволил себе говорить собственным голосом, простейшими словами,

сочинять, самому себе посмеиваясь, с похмелья или едва похмелившись — и вышло на ура.

Как мы видим, в своей весьма сомнительной «ссылке» даже лёгкого подобия раскаяния Давыдов не испытал. Дальше войны всё равно не сошлют, понимал он, о войне мечтая как о самой романтической встрече.

Тут и война подоспела.

Наполеон уже хозяйничал в Европе, молодой российский император принял решение направить туда генерал-фельдмаршала Михаила Каменского с войском. Давыдов пишет: «Как бешеный я пустился в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу».

К Каменскому Давыдов не попал, но его взяли адъютантом к Петру Ивановичу Багратиону, командующему авангардом армии. К тому самому Багратиону, по поводу которого Давыдов в стихотворении «Сон» не так давно острил, что у него «нос вершком короче стал», — все знали о длинном, с горбинкой носе уже легендарного военачальника. Так что и Багратион оказался не обидчив — какие светлые люди жили тогда: то не замораживающиеся о пустяках, то из-за других, по нашим меркам, тоже пустяков, стреляющиеся на дуэлях!

По пути к месту службы, 15 января 1807 года, Давыдов произведён был в штаб-ротмистры.

Уже на месте встретил среди офицеров множество своих петербургских приятелей, которые, вспоминал Давыдов, «...вздыхали о петербургской роскошной жизни».

«Глупый ты человек, — говорили мне они, — черт тебя сюда занес! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты еще в чаду, мы это видим, — погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь». Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похlebка на стерляжьем бульоне».

«Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на все, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали еще возвышения справа и слева — в одно время, как длинные полосы черных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колес пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопченных дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами, — всё это благородное безобразие, знаменующее понесенные труды и опасности, всё неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!»

Военные свои записки Давыдов писал так, как ни один русский генерал позже не умел. Более того, все романы о Давыдове на фоне его собственных записок беспощадно блёкнут.

«Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы...

Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее, по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллерией авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие ее было, во всем смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, пораженные ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.

Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искаженные и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я — со стыдом признаюсь — дошел до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее, — а какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня воспоследовало умственное мое выздоровление. Пришед в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм большого воображения».

«Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи!» — пишет Давыдов.

Или о том же — в отличных, написанных уже после навсегда пережитых пароксизмов воображения, стихах:

...гулять не время!
К коням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам Бог даёт,
Пир зазорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Нутка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

Едва появившись в месте боев, Давыдов стал искать, где бы ему и поскорей совершить подвиг. Он вызвался в переднюю цепь, якобы чтоб смотреть за неприятелем. Там и приметил разодетого французского офицера, стоявшего наособицу и наблюдающего за русскими.

Неподалёку были казаки, и, подъехав к ним, Давыдов попытался подбить их взять офицера в плен. Казаки оказались опытными вояками, посему разодетому адъютанту мягко отказали: «Не к чему головы подставлять, вашебродь».

Тогда раздосадованный и одновременно праздничный Давыдов рванул сам к этому офицеру, возле которого уже собрались французские кавалеристы, подозревающие, что затевается нечто нехорошее.

На скаку Давыдов выстрелил в офицера из пистолета, но... не попал. В Давыдова выстрелили в ответ, да не по разу, все французские кавалеристы и тоже промахнулись, а вполне могло б получиться так, что рассказ наш здесь же и оборвался бы.

Сделав круг, Давыдов снова вернулся: не настолько близко, чтоб в него могли легко попасть, но достаточно для того, чтоб крикнуть — и быть услышанным. На своём отличном французском Давыдов стал вызывать француза на личный поединок. Тот в ответ кричал что-то обидное. Давыдов обзывать тоже умел, и они начали друг друга витиевато «поливать», причём наш герой иногда переходил на русский — тут выбор казался шире.

Наконец один из казаков подъехал к Давыдову и ласково попросил:

— Ваше благородие, сражение — святое дело, ругаться в нём всё то же, что в церкви: Бог накажет!

О, тихая мудрость русского человека!

Поняв, что тут порывов души его не понимают, Давыдов умчался обратно к Багратиону.

Исполнив очередное его поручение, но не успокоившись, вернулся на то же самое место и на этот раз уговорил казаков атаковать французский авангард. Казаки согласились, Давыдов выстроил их, гусар и улан, и пошёл в первый в своей жизни бой.

...вот уже бешеные лица противников, — выстрел, мимо, выстрел, мимо, — сабли наголо, бьют по нему, отразил с лязгом, ещё бьют, увернулся, — бьёт сам и видит даже не кровь чужую — а мясо...

Схватка продолжалась несколько минут, обратить в бегство французов не удалось; пришлось возвращаться к своим позициям.

Давыдов, и разгорячённый, и удручённый — как же, не удалось наскоком погнать противника, — помчался обратно к Багратиону и по пути попал навстречу французским конным егерям. Они тут же решили одинокого русского всадника взять в плен или убить.

Захлопали выстрелы.

Лошадь Давыдова ранили, — собственно, всё, тут ещё с большей вероятностью могли б завершиться его ратные подвиги. Подоспевший француз ухит-

рился схватить Давыдова за гусарский плащ. Давыдов с необычайной ловкостью выпростался из плаща — и оставил его в руках француза, но лошадь его уже начала заваливаться... Вот тебе и «ура, счастливый день».

...если б не подоспевший казачий разъезд — лежал бы адъютант Багратиона с маленькой пушкой в молодом теле или с неприятным, от сабельного удара, расколом посреди задорной головы.

Давыдову дали коня из-под убитого гусара — и он был спасён.

За первое же своё дело Давыдов получил орден Святого Владимира 4-й степени. Наградные листы (рескрипты) подписывал сам император: как выяснилось, зла он на Давыдова не держал. Багратион одарил бесшабашного адъютанта собственной буркой, взамен сорванного плаща.

Уже через день Давыдов участвует в сражении при Прейсиш-Эйлау. Там он переживёт полтора дня артиллерийской бомбёжки: «...широкий ураган смерти, всё вдребезги ломавший и стиравший с лица земли всё, что ни попадало под его сокрушительное дыхание...»

Французской армией в том сражении командовал сам непобедимый Бонапарт, к тому ж у французов было численное превосходство.

В чудовищном грохоте, меж разрывов и бесчётных смертей, Давыдова непрестанно гоняли к передовой — с теми или иными приказами.

Арьергардные части, которые возглавляли Багратион и Барклай-де-Толли, должны были прикрывать отступление русской армии.

Прейсиш-Эйлау был оставлен русскими: победить Наполеона было ещё не по силам. Но день, который арьергардам надо было отстоять, — они выстояли.

25 мая Давыдов участвовал в деле под Гутштадтом, 28 мая — под Гейльсбергом (за этот бой он был награждён орденом Святой Анны 2-й степени), 2 июня — под Фридландом (получил золотую саблю «За храбрость»).

Ещё одна цитата из воспоминаний Давыдова.

«На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелюю насквозь, но не навывлет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее справа и слева, что почти не причинило бы боли и еще менее ущерба этой громадной выпуклости, — один из башкирцев узнает оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. «Нет, — говорит он, — нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам ее выну...» — «Что ты врешь, — говорили мы ему, — ну, как ты вынешь ее?» — «Да, бачка! Возьму за один конец, — продолжал он, — и вырву

вои; стрела цела будет». — «А нос?» — спросили мы. — «А нос? — отвечал он. — Черт возьми нос!..»

Можно вообразить хохот наш.

Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако ж, о чем идет дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали...»

По общим итогам кампании Давыдова наградили Прейсш-Эйлауским крестом и прусским орденом «За заслуги»: целый звездопад.

После подписания печального для России Тильзитского мира с Наполеоном в июле 1807-го, Давыдов надолго без дела не остался: «Первый слух о войне с Швециею и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту, как Ментор Телемака, и я не замедлил догнать армию нашу в Шведской Финляндии на полном ходу её».

Россия вела в тот раз наступательную войну, с целью решить давнюю проблему: отогнать шведов подальше от Санкт-Петербурга, и с этой целью забрать у них Финляндию, которой они владели уже несколько веков.

Большинство финнов, как показалось сначала Давыдову, относились к русским совершенно равнодушно, так что перемещаться по территории, откуда выбили шведов, можно было вполне безопасно. К тому же Давыдов успел, как сам признался, оценить «довольно свежих и хороших» финнов.

В марте 1808 года Давыдов догнал давнего своего знакомого генерала Якова Петровича Кульнева, автора чудесного признания: «Люблю нашу матушку Россию за то, что у нас всегда где-нибудь да дерутся!» Кульнев показал себя впервые героем ещё в 1794 году, штурмуя под началом Суворова Варшаву.

Теперь он стоял с авангардом в Гамле-Карлеби (местечко на берегу Ботнического залива, севернее Вазы): три батальона егерей, два эскадрона гродненских гусар, казачьи сотни и шесть пушек.

4 апреля Давыдов уже участвует в схватке — близ селенья Пихаиоки: гусары и казаки атаковали шведских драгун прямо на льду Ботнического залива.

12 апреля Кульнев поручает Давыдову отдельное дело — это первый бой, где Давыдов выступил уже непосредственно как командир. Наверняка умолил Кульнева довериться ему.

Что ж, пробуй, Денис.

У Давыдова был гусарский эскадрон и полторы сотни казаков — то есть половина кавалерии авангарда! — видно, что Кульневу 24-летний штаб-ротмистр показался достойным воином.

Прошли ночью тридцать вёрст по льду залива и неожиданно ударили по острову Карлое — там была база для высадки шведского десанта, а также хранились хозяйственные и продовольственные запасы под охраной гарнизона.

Гарнизон частично истребили, частично взяли в плен, базу сожгли и двинулись в обратный путь.

К базе тем временем была направлена шведская кавалерия — видимо, успели получить сигнал или приметили начавшийся пожар.

Когда шведы явились, никого они уже не застали. Давыдов, однако, далеко не ушёл. Шведская кавалерия оставила свою пехоту, естественным образом не поспешавшую за лошадьми. Сделав круг, обойдя остров и объявившись на берегу, отряд Давыдова ударил в тыл пехоте и поверг её в смятение: несчастные шведские пехотинцы, неся большие потери, отступали двадцать вёрст до ближайшей деревни Люмиоки.

Вернувшийся только к следующей ночи Давыдов рисковал от Кульнева получить нагоняй за самоуправство — ему было приказано вернуться сразу после уничтожения базы; но в этот раз обошлось: ради случившейся победы простили штаб-ротмистра.

Тем более, что вскоре Давыдов напишет стихи в честь Кульнева, это не могло не польстить генералу.

Давыдовское сочинение полно приметам той кампании: и финский этот колпак, по какой-то причине надетый Кульневым, явно не выдумка — догадываемся, чтение этих стихов сопровождалось хохотом слушателей: они-то знали, о чём речь:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

.....

Наш Кульнев до зари, как сокол, вострепнулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте, — говорит, — вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!»

К последней строчке Давыдов сделал примечание, что это цитата из приказа Кульнева о выступлении в поход за два часа до рассвета. Когда у него спросили, как же в темноте воевать, он ответил: «Как-как, в упор! — так ви-дишь, кого бьёшь».

После нескольких месяцев кампании стало выясняться, что, увы, не всё местное население было настроено к русским благодушно.

Часто говорят, что события той войны впервые навели Давыдова на мысль о партизанщине. Возможно и так, хотя ниже мы расскажем, отчего у нас несколько иное мнение. В любом случае с подобием партизанской войны Давыдов столкнулся здесь впервые.

Участник шведской войны, впоследствии русский литератор с весьма своеобразной репутацией, Фаддей Булгарин в своих воспоминаниях пишет: «Саволакские стрелки, самые опасные наши неприятели в этой неприступной стране, были крестьяне лесистой и болотистой области Саволакса... Они были одеты в серые брюки и куртки из толстого сукна и имели круглые шляпы. Амуниция их была из простой черной сапожной кожи. В мирное время эти стрелки жили по домам своим, занимались хлебопашеством, рыболовством и звериными промыслами и собирались ежегодно на несколько недель на ученье. Они дорожили ружейным зарядом и редко пускали пулю наудачу... Все они дрались храбро и были чрезвычайно ожесточены против русских».

Ну и русские отвечали тем же. Булгарин описывает один случай.

«...толпа казаков слезла с лошадей и чем-то занималась в стороне, шагах в двадцати от дороги... И что же?... Человек десять саволакских егерей, которых нагнали и забрали казаки, лежали раздетые в яме, а казаки, стоя в кружок, колоти их пиками... Нестеров (казацкий атаман — **прим. З.П.**) сидел на лошади, смотрел спокойно на эту ужасную сцену и, сняв шапку, приговаривал: «Слава те господи! Погубили врагов белого царя! Туда и всем им дорога!..»

Булгарин считает нужным добавить: «...должно заметить, что взбунтованные крестьяне так же зверски умерщвляли наших солдат, захватив их врасплох».

Казаками — может, и не этими, но другими такими же головорезами — Давыдов будет не раз командовать, и с отменным успехом.

Летом шведы начали наступление, стремясь вернуть потерянные финские земли, и несколько потеснили русских на юг. Гамле-Карлеби авангарду Кульнева пришлось оставить; но вскоре русские туда снова вернулись.

Давыдов участвовал во многих делах, в том числе, согласно формулярному списку, в сражении под Оровайсом.

Подробное описание этого дела оставил Фаддей Булгарин: «Между селениями Оровайсом и Карват Ботнический залив образует небольшую губу, довольно протяжённую внутрь земли острым своим концом. Вдоль морского берега пролегает большая дорога из Вазы в Ньюкарлеби и поворачивает влево в конце губы. На этом-то повороте была укреплённая шведская позиция. В море впадает в этом месте небольшая речка, протекающая через болота... Кирка Оровайси лежит за позициюю, также на возвышении. Шведы примыкали своим правым крылом к утесистому берегу моря, где имели несколько канонирских лодок. На горе, в центре позиции, на большой дороге устроены были их батареи. Отсюда тянулись шанцы к полям и лугам до возвышений и утёсов, прикрывающих левый фланг, оканчивающийся в непроходимом лесу, заваленном засеками. Первая черта позиции была вышеупомянутая речка и

болота, а кроме того, в разных местах были засеки, оберегаемые стрелками. Нельзя было приблизиться к позиции иначе, как под картечными выстрелами... Перед этою главною позициею была другая, также укреплённая, возле небольшого озера, из которого вытекает другая речка, также впадающая в море. За мостом находится мельница, за которою устроена была батарея, а вдоль рек проделаны засеки. В этом месте завязалось сражение, в двух верстах от кирки Оровайси.

Шведские посты были сначала сбиты и отступили к мосту. Стрелки наши растянулись правым флангом за озеро, а левым примкнули к морю и намеревались обойти озеро».

Шведы атаковали русских егерей на левом фланге и начали их теснить.

Тут в дело вступили Кульнев, Давыдов и бравые их ребята. Натиск был остановлен.

Одно из орудий Кульнева было выставлено на дорогу и стреляло до тех пор, пока ружейным огнём шведы не перебили всех лошадей и почти всю команду, кроме офицера; их сменили другой командой. Шведы отошли за мост. В это время на левом фланге, где стояли ребята Кульнева, произошла высадка с канонирских лодок.

Началось шведское наступление в штыки по всей цепи; его сначала остановили, а затем в центре вывели четыре орудия и страшным огнём принудили шведов отступить.

Но противник не унимался.

Булгарин пишет: «Сражение на целой линии продолжалось непрерывно, с величайшим ожесточением с обеих сторон, которые то отступали, то подавались вперёд, то перестреливались, то действовали штыками. Артиллерия не умолкала, и кровопролитие было ужасное! К вечеру наши войска, будучи принуждены согласно месторасположению сражаться врассыпную, устали до невероятности. Не стало даже патронов. Перестрелка с нашей стороны сделалась слабее, и мы с трудом удерживали нападение неприятеля. Тогда шведские генералы Адлеркрейц и Фегезак, наблюдавшие центр с отборными и свежими войсками, стремительно сошли с возвышений на большую дорогу и стройными колоннами бросились в штыки на русских. Наши фланги, рассеянные в стрелках на обширном расстоянии, должны были поспешно отступить, чтоб не быть отрезанными от центра, подавшегося назад. Вся наша боевая линия обратилась в тыл, и шведы с радостными восклицаниями шли вперёд, провозглашая победу, которая казалась несомненною».

Но не тут-то было. Сын того Каменского, к которому когда-то Давыдов набивался в адъютанты, тоже военачальник — граф Николай Михайлович Каменский, — ещё утром послал приказание четырём батальонам Могилёвского и Литовского полков (около полутора тысяч человек) идти на подкрепление к Оровайси из Вазы.

«Никто не догадывался о намерении графа Каменского, — пишет Булгарин, — и все предполагали, что бой уже кончен».

Едва на дороге появились батальоны, граф Каменский бросился к ним:

— Ребята, за мной! Наши товарищи устали; пойдём выручим их и покажем шведам, каковы русские! Вы знаете меня, я не уйду отсюда жив, если мы не разобьём шведов в пух. Не выдайте, ребята!

Ну, и не выдали.

Булгарин: «Ничто не может сравниться с удивлением шведов при этом неожиданном нападении; они воображали, что дело уже кончено... Настала резня, а не битва. Дрались врукопашную, на штыках. Голос Каменского возбуждал в наших новый жар к битве. «Ребята, не выдавай! Вперёд! Коли!» — кричал граф Каменский, и наши солдаты бросались в ряды и вырывали ружья у шведов. Между тем по всей линии нашей ударили в барабаны поход; раздалось: «Ура! Вперёд!» — и все полки снова обратились на неприятеля».

По приказу Каменского все командиры поменялись местами, и Кульнев с Давыдовым теперь оказались в центре.

Другой отряд пошёл через засеки и каменную сыпь в обход шведов и к десяти вечера добрался до места назначения — а на поле битвы всё это время продолжались то перестрелка, то рукопашная попеременно. Всё уже было в тумане и полумраке.

«Лишь только граф Каменский получил известие, что обход наш уже на месте, — пишет Булгарин, — тотчас дал сигнал к повсеместной атаке, и наши с криком ура бросились в штыки на неприятельские шанцы и батареи и тотчас овладели ими. Храбрые, но изумлённые этим неожиданным и отчаянным нападением русских, шведы обратились в бегство в величайшем беспорядке. Их преследовали штыками две версты, за кирку Оровайси, где граф должен был остановиться, потому что от усталости наши солдаты еле двигались. Невзирая на это, Кульнев с авангардом пошёл вслед за неприятелем, который остановился за сожжённым мостом в пяти верстах от Оровайси».

(Неутомимого Давыдова только сожжённый мост и мог остановить.)

Между тем Булгарин сообщает, что в ночи «...солдаты были так измучены, что не хотели даже варить пищи». Бой длился 17 часов!

Так после нескольких сражений русские взяли всю Финляндию.

Однако на мир шведы всё ещё не соглашались, тем более что за Швецией стояла Англия, которой поведение России категорически не нравилось.

Посему в российских штабах возникла идея перейти зимой Ботнический залив, вступить уже на шведские земли и затребовать мира непосредственно возле Стокгольма: чтоб король Густав IV, сын едва не попавшего в плен на прошлой русско-шведской войне Густава III, мог воочию узреть, что его ждёт.

Корпус Баркляя-де-Толли (куда попал упомянутый Булгарин) должен был двигаться по заливу с севера. Корпус Багратиона, заняв Аландские острова,

должен был выйти к Стокгольму — авангард этого корпуса возглавил Кульнев, с неизменным Денисом Давыдовым в ближайших боевых товарищах.

Первыми вступили на балтийский лёд войска Багратиона — было это в первые дни марта 1809 года. Багратионовский корпус состоял из 15 тысяч человек при 20 орудиях.

В корпусе Багратиона воевал в том походе ещё один молодой поэт — Константин Батюшков.

Войска шли по льду, в ужасных условиях, без горячей пищи, с ночёвками на снежном насте; конница Кульнева впереди. Давыдов мог проехать мимо пешего Батюшкова, не догадываясь, что два будущих великих русских поэта оказались в таком необычном месте: на белом просторе под ледяным небом.

Иногда возникали жуткие полыньи — и был риск утонуть в чёрной мертвящей воде, не добравшись до шведской земли.

Однако ж и удивление шведов при появлении из ледяной мглы русской армии было огромно. Десятитысячный шведский корпус тут же начал отходить...

В очередном деле Кульнев передал Давыдову казачью сотню. Русские брали остров Бено. В деревушке на острове засели пристрелявшиеся шведы, открывшие плотный огонь. Давыдов спешил свою сотню, доплзли по-пластунски — и завершили дело в рукопашной.

Далее цитируем историка А.И. Михайловского-Данилевского — речь пойдёт о тех боях, где непосредственно участвовал Давыдов: «...забирая пушки и пленных, Кульнев настиг арьергард шведов, которые, сосредоточась в Эккеро, крайнем западном пункте Аландских островов, поспешно пустились через Аландсгаф к шведским берегам. У островка Сигналскера догнал арьергард их Кульнев, захватил с бою две пушки и 144 пленных и принудил шведского полковника Энгельбрехтена положить оружие, с 14 офицерами и 442 человеками нижних чинов. Бросая ружья, фуры, пороховые ящики, остальные войска неприятельские спаслись на шведский берег».

(Здесь внимание, потому что упомянутые две пушки взял именно Денис Давыдов с тридцатью казаками.)

«Остановя следование Багратионова корпуса на Аландских островах, главнокомандующий положил послать только конный отряд через Аландсгаф на шведский берег. Отряд сей, составленный из трёх эскадронов гродненских гусаров лейб-уральской сотни и 400 донцев, поручили Кульневу...»

В ночь с 6 на 7 марта 1809 года Я.П. Кульнев отдал гусарам приказ: «Бог с нами! Я перед вами, князь Багратион — за вами. В полночь, в 2 часа, собраться у мельницы. Поход до шведских берегов венчает все труды наши. Сии волны — истинная награда, честь и слава бессмертная! Иметь с собою по две чарки водки на человека, кусок мяса и хлеба и по два гарнца овса. Море не страшно тому, кто уповает на Бога. Отдыхайте, товарищи!»

«Ночью выступил Кульнев, шёл восемь часов по следам шведов, через ледяные громады Аландсгафа, и... «Ура!» раздалось в рядах его отряда, когда затемнели перед ними дикие утёсы шведских берегов. Изумлённые береговые отряды шведов не верили глазам своим, видя гарцевание казаков по льду морскому».

(Наверняка Давыдов гарцевал там в самом первом ряду, потому что именно он и командовал казаками.)

«Шведские егери встретили Кульнева за версту от берега. С обыкновенными словами его: «С нами Бог!» — гусары атаковали шведов с фронта; казаки бросились с флангов и понеслись в тыл неприятеля. Шведы были смяты, бежали, оставили пленными 86 человек и отстреливались из-за береговых утёсов и деревьев. Кульнев спешил уральцев и послал их перестреливаться, выстроил на льду спешенных гусаров и требовал сдачи прибрежного местечка Гриссельгама, уверяя, что сопротивление бесполезно, ибо сильный корпус русский идёт на Нортель, ближе к Стокгольму...»

(Не здесь ли Давыдов впервые задумается о том, что неприятеля можно напугать и обмануть — и подобным образом брать не только местечки, но и города?)

«Доверяя словам Кульнева, шведы прекратили бой и уступили местечко...»

Так русские вступили на шведскую землю — всего в ста верстах от Стокгольма, — и опять есть ощущение, что Давыдов был едва ли не первым, кто перешагнул со льда на берег.

В Гриссельгаме, на клочке чужой земли, бесстрашный авангард провёл два дня, пока им не передали с вестовым, что можно возвращаться назад.

В формулярном списке Давыдова отмечено, что за русско-шведскую кампанию он участвовал в десяти крупных битвах. Кульнев несколько раз представлял его к наградам, а следом и сам Багратион написал отдельный рапорт в военную коллегию с просьбой наградить Давыдова св. Георгием IV класса. Но за финскую ему ничего так и не дали; причины этой несправедливости неизвестны; так что и гадать не станем.

Давыдов мог бы осердиться за такое невнимание, но вместо этого с ледяной северной войны, толком не отдохнув, он перебрался на очередную, но уже горячую — русско-турецкую.

Началась она с того, что, подзуживаемые Наполеоном, турки стали препятствовать российскому флоту ходить через Дарданеллы, а закончилось всё тем, что ввязавшаяся в конфликт Россия потребовала присоединения к ней Молдавии, Валахии, Бессарабии и, раз пошла такая крупная игра, независимости сербов от турецкого владычества.

Турок вновь поддерживали англичане.

Французов видел в деле Давыдов, шведов и финнов видел, а турок ещё нет. 25 июля 1809 года вместе с Багратионом явился он в действующую армию.

14 августа главнокомандующий Молдавской армией Багратион двинет полки через Дунай. Давыдов — его адъютант; 18 августа — он в бою при взятии Мачина, 22 августа в бою при взятии Гирсова, 4 сентября в сражении под Рассаветою, где русские разбили 12-тысячный турецкий корпус. 10 октября у Татарицы ещё одно сражение, с турецким визирем, — и снова победа после десятичасового боя.

В следующем году Багратиона на должности главнокомандующего замещает граф Николай Каменский. Подъезжает и генерал Кульнев, ему препоручают командование авангардом, куда направляют Давыдова, и он вновь оказывается в той же компании, что год назад в Финляндии и на краешке Швеции.

Перезимовав, русская армия снова бросается в бой.

5 мая в составе авангарда Кульнева Давыдов участвует в осаде крепости Силистрия, затем, по пути к крепости Шумла, в бою с турецкой конницей, которая была рассеяна.

В самой Шумле от 35-тысячного русского корпуса заперлись 40 тысяч турок.

10 и 11 июня крепость пытались взять, но безуспешно, однако за те бои Давыдов получил очередную свою награду: орден св. Анны с бриллиантами. Он был произведён в ротмистры и теперь исполнял обязанности бригад-майора в авангарде.

Совместное с Кульневым время боевое Давыдов назовёт в автобиографии своей «поучительным». В Молдавии, признается он, довелось ему закончить «курс аванпостной службы, начатой в Финляндии» и познать «цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою». Хотя мы понимаем, что не из одних спартанских тягот состояла та служба.

Участник той кампании, офицер 1-го егерского полка, входившего в авангард, Михаил Петров пишет в своих воспоминаниях: «Между военных действий славного Кульнева были иногда часы, когда мы, адъютанты его, мечась с приказаниями по линиям атак и маневров наших от пехоты к гусарам и от казаков к драгунам, соединялись у нашего почтенного, незабвенного начальника-героя, любезного всем Якова Петровича, то поесть кашицы и шашлыков или попить с ним чайку, сидя у огонька круговую. Тут Денис Васильевич Давыдов острыми своими высказываниями изливал приятное наслаждение утомлённым душам нашим. Он пил, как следует калиберному гусару... для шутки любил выставлять себя «горьким». Выпив поутру первую чашу, он, бывало, крехнет и поведёт рукою по груди и животу, качая головой медленно в наклон к груди; и как однажды Кульнев, давний друг его, спросил Давыдова: «Что, Денис, пошло по животу?», он отвечал: «По какому уж тут животу идти, а по уголькам былого когда-то живота зашуршело порядочно».

«На водку, — писал сам Давыдов про Кульнева, — он был чрезмерно прихотлив и потому сам гнал и подслащивал ее весьма искусно. Сам также заготовлял разного рода закуски и был большой мастер мариновать рыбу, грибы и

прочее, что делывал он даже в продолжение войны, в промежутках битв и движений. «Голь на выдумки хитра, — говаривал он, потчуж гостей. — Я, господа, живу по-донкишотски, странствующим рыцарем печального образа, без кола и двора; потчуж вас собственным стряпаньем и чем Бог послал...»

Дабы разбавить вдруг создавшийся лирический настрой, скажем, что под Шумлой русская армия встала намертво; от жары начались повальные болезни — и потери шли хуже боевых; так что и пили офицеры часто с целью медицинской, изводя заразу в зачатке. К тому же так отменно показавший себя в Финляндии 32-летний генерал от инфантерии граф Каменский на этой кампании вдруг явился самодуром, откровенно тиранившим войска и офицерский состав.

«Все окружающие великого Могола, — писал о нём Денис Васильевич своему товарищу и родственнику генерал-майору Николаю Раевскому, — разбранены и ошельмованы по пяти раз на день... Маска спала, и остался человек. Да какой!»

Не сойдясь в характерах с новым главнокомандующим, Давыдов вернулся к Багратиону, стоявшему тогда в Житомире во главе 2-й Западной армии.

(Граф Каменский внезапно умер 4 мая 1811 года, Молдавскую армию возглавил Михаил Илларионович Кутузов и разнёс турецкую армию в прах, но уже без Давыдова.)

К стихам своим, как и прежде, Давыдов относился не всерьёз: за минувшие четыре года не напишет он и десятка стихотворений. У него иной раз спрашивали: отчего так? В 1811 году он предельно просто объяснит причину:

На выюке в тороках цевницу я таскаю,
Она и под локтём, она под головой;
Меж конских ног позабываю,
В пыли, на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

Перуны вскоре загремели, цевница (свирель) опять куда-то запропастилась; зато, говоря про виртуоза, Давыдов себя точно не перехвалил.

11 июня Наполеон обратился с воззванием к своей армии: «Воины! Вторая Польская война начинается. Первая кончилась при Фридланде и в Тильзите. В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и вечную войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои. Она объявляет, что даст отчёт о поведении своём, когда французы возвратятся за Рейн, предав на её произвол союзников наших. Россия увлекается роком; да свершится судьба её!

Не думает ли она, что мы изменились? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия даёт нам на выбор бесчестье или войну, он не сомнителен. Мы пойдём вперёд, перейдём Неман и внесём войну в сердце её. Вторая Польская война столько же прославит французское оружие, сколько и первая. Но мир, который мы заключим, будет прочен, и обеспечение уничтожит пятидесятилетнее гордое и неуместное влияние России на дела Европы».

(Последняя максима — звучит на все времена.)

Почему «вторая Польская»? По итогам Тильзитского мира, на землях, отвоеванных у Пруссии, было создано Великое герцогство Варшавское. В 1809 году другая часть польских земель была отобрана Наполеоном у Австрии. Несмотря на то что французы покорили большую часть Европы, в случае с Польшей они воспринимали себя освободителями, даром что польская свобода полностью зависела теперь от власти Наполеона. Возврат части польских — точнее сказать, украинских и белорусских земель, что отошли к России в результате разделов 1772 и 1779 годов, — теперь объявлялся причиной похода на Москву. Время от времени Европа демонстрирует подобное фарисейство в отношении России. Землям Украины в этом смысле особенно везёт. Хотя истинная причина всё равно очевидна и даже не скрывается: «неуместное влияние» варварской России на дела европейских небожителей.

Накануне вторжения, в апреле 1812 года, Давыдов получит подполковника и возглавит батальон в составе Ахтырского гусарского полка. Он участвует в первых же боях и сшибках со вступившей на территорию российской империи армией Наполеона.

Уже 26 июня под Миром (Минская губерния) русские имели первые военные успехи. Казачий атаман Платов придумал, запустив по дороге к Миру сотню отступающих казаков, заманить преследующего противника в засаду. Всё удалось: польская дивизия уланов под командованием генерала Турно пошла маршем за казаками. С двух сторон поляки были атакованы и бежали, пока их не загнали в болото, где многие потонули.

Давыдов всё это наблюдал, его полку приказа участвовать в бою не было. Но на следующий день и до него дошла очередь: ахтырцы атаковали вставших на привал улан, к тем пришло подкрепление, в свою очередь ахтырцев усилили Литовский уланский полк, Киевский драгунский и казаки Платова, — и додавили поляков, взяв в плен 248 человек. Так Давыдов впервые, но далеко не в последний раз столкнулся в бою и с поляками тоже: польский корпус в составе армии Наполеона насчитывал 60 тысяч человек.

1 июля Давыдов был в бою под Романовом, 3 августа под Катанью (деревня за Смоленском), где командовал ночной экспедицией, 11 августа под Дорогобужем, 14 августа под Максимовом, 19 августа под Рожеством...

В 20-х числах августа Давыдов обратился к Багратиону с предложением предоставить ему небольшой отряд для того, чтоб действовать в тылу наполеоновских войск. Багратион обсудил вопрос с Кутузовым.

В итоге Давыдову дали в подчинение всего пятьдесят гусар и восемьдесят казаков: Кутузов не скрывал, что затею считает сомнительной.

«...Багратион, — вспоминает Давыдов, — сам отписал «к генералам Васильчикову и Карпову». Одному, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому — лучших казаков; спросил меня: имею ли карту Смоленской губернии? У меня ее не было. Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал: «Ну, с богом! Я на тебя надеюсь!» Слова эти мне очень памяты!

Двадцать третьего рано я отнес письмо к генерал-адъютанту Васильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они о моем назначении: чрез окружавших ли светлейшего, слышавших разговор его обо мне с князем, или чрез окружавших князя, стоявших пред овином, в котором он мне давал наставления? Как бы то ни было, но господа генералы встретили меня шуткою: «Кланяйся Павлу Тучкову, — говорили они, — и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить»...

Смысл шутки заключался в том, что генерал-майор Павел Алексеевич Тучков попал две недели назад в плен.

В затею Давыдова никто не верил. Над ним, скажем прямо, подсмеивались.

Получив сто тридцать своих бойцов, Давыдов, уже готовый к отъезду, за несколько дней до Бородинского сражения попал по случайности в бой у Шевардинского редута — и немедленно ввязался в дело, вообще не имея на то приказаний. Как же не повоевать напоследок у родной своей деревни: Бородино ж принадлежало Давыдовым!

Больше того Бородино, что он помнил, Давыдов не увидит никогда: всё сгорит.

На другой день он отправляется на запад.

Может, одной из причин его ухода, хоть и не первой, стало нежелание наблюдать разор родных мест — и тем более оставлять их, если выпадет судьба отступать дальше. Здесь, под родным Бородино, у Давыдова закончилось место для отступления. «Вы как хотите — а я теперь только вперед».

И пошёл вперёд.

«...путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии, — пишет Давыдов, — и опасность в первые дни подстерегала его не только со стороны захватчиков. Даже места, не прикосновенные неприятелем, немало представляли нам препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами, и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и гово-

рить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православных церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас. Мы могли бы обходить селения; но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселения в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменалась; едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги подносились солдатам».

«Сколько раз я спрашивал жителей по заключении между нами мира: «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одежду схожо». — «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!»

Русский мужик был прав — у Наполеона кого только не было; многочисленные поляки, к примеру, вполне могли худо-бедно владеть русским. Но это ещё что — существуют свидетельства, когда крестьяне готовы были убить оказавшихся во французском тылу русских офицеров, вообще не беря в расчёт их речь: мужики поначалу просто не верили, что французы говорят на другом языке. Им, прожившим в своей деревне целую жизнь, и в голову не приходило, что француз должен изъясняться как-то по-своему, они были убеждены, что язык русский — общемировой. Спасал тогда только нательный крестик: в то, что француз — нехристь, мужик поверить мог; тем более, что слухи о разоре православных храмов (в чём особенно усердствовали поляки) уже шли. Давыдову, чтоб крест всякий раз не показывать, пришлось сделать то, чего француз себе позволить никак не мог: он переоделся в мужичий кафтан, отрастил бороду, а вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая. И стал, между прочим, похож на Пугачёва. Как раз, чтоб мужик угадал своего спасителя.

Сам Давыдов таких аналогий по очевидным причинам избегает, но забавным образом приводит сравнение, в сущности, схожее, рассказывая про дела своего отряда: «...войдя в лес, провозждали ночь без огня. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успевал скрыться, тогда снова переменили место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за час, два или три до рассвета подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что по силе, обращались на другой; нанеся еще удар, возвращались окружными дорогами к спасительному нашему лесу... Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так, полагаю я, начинал Ермак...»

Именно! Ермак. Так многие на Руси начинали, и, сдаётся, не только финские дела могли побудить Давыдова к партизанской войне, но и знание о том,

что родился он всего через девять лет после подавления пугачёвщины, едва не пошатнувшей трон.

Бородатые пугачёвские шайки, с примыкающим беспощадным и жутким мужичьём, с теми же самыми казаками, что служили теперь у Давыдова, появляясь из ниоткуда, грабили обозы, били регулярные войска, захватывали целые города, а потом снова исчезали. Что ж тут финские крестьянские стрелки — когда более лихие примеры имелись в родном Отечестве. В конце концов, финских стрелков наши казаки пиками перекололи, а войну против Пугачёва императрица Екатерина желала возглавить лично, и завершал её Суворов.

«Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, — пишет Давыдов в «Дневнике партизанских действий 1812 года», — мы 2 сентября на рассвете напали на нее и захватили в плен девяносто человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками. Едва казаки и крестьяне занялись разделением между собою добычи, как выставленные за селением скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к Токареву другой шайки мародеров. Это селение лежит на скате возвышенности у берега речки Вори, почему неприятель нисколько не мог нас приметить и шел прямо без малейшей осторожности. Мы сели на коней, скрылись позади изб и за несколько саженей от селения атаковали его со всех сторон с криком и стрельбою, ворвались в середину обоза и еще захватили семьдесят человек в плен».

«...узнали, что в Царево-Займище днюет транспорт с снарядами и с прикрытием двухсот пятидесяти человек конницы.

Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов и по лощинам; но за три версты от села, при выходе на чистое место, встретились с неприятельскими фуражирами, числом человек в сорок. Увидя нас, они быстро обратились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения делать было некогда, да и некем. Оставляя при пленных тридцать гусаров, которые, в случае нужды, могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семьюдесятью казаками помчался в погоню и почти вместе с ухודившими от нас въехал в Царево-Займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. Все рассыпалось при нашем появлении: иных мы захватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды, иных вытащили из сараев; одна только толпа в тридцать человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с патронами».

Усилив отряд отбитыми русскими пленными солдатами, которых переодели во французскую, за неимением русской, форму, получив в пополнение два полка (1-й Бугский и Тептярский), Давыдов развернулся ещё шире.

Характерно, что Бугским полком у него командовал чеченец: «Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвету лица бронзового, волосу черного, как крыло ворона... — пишет Давыдов, — предприимчивости беспредельной, сметливости

и решимости мгновенных». Чеченцу, долго не гадая, и фамилию дали соответствующую — Чеченский. Другим ближайшим товарищем Давыдова был прибывший к партизанам майор Храповицкий из Волынского уланского полка.

«Пятнадцатого, около восьми часов утра, пикетные открыли шедшее от села Тарбеева большое количество фур, покрытых белым холстом. Некоторые из нас сели на коней и, проскакав несколько шагов, увидели их, подобно флоту, на парусах подвигавшемуся. ...помчались к ним наперерез. Передние ударили на прикрытие, которое, после нескольких пистолетных выстрелов, обратилось в бегство; но, быв охвачено Бугским полком, бросило оружие. Двести шестьдесят рядовых разных полков, с лошадьми их, два офицера и двадцать фур, полных хлебом и овсом, со всею упряжью, попались нам в руки».

В селе Юренево Давыдов обнаружил три батальона польской пехоты, шедших из Смоленска в Москву: «Один из них расположился в селе, а два за церковью, на биваках... С рассветом осмотрел местоположение и приказал шестидесяти человекам пехоты, прокравшись ложиною к селу, вторгнуться в средину улицы, закричать: «Ура, наши, сюда!» — и на штыках вынести вон неприятеля».

«В одно время Бугский полк должен был объехать село и стать на чистом месте, между деревнею и церковью, дабы отрезать дорогу оставшимся от поражения. Прежний мой отряд и Тептярский полк я оставил в резерве и расположил полускрытно около леса, приказав им открывать разездами столбовую дорогу к Вязьме. Распоряжение мое было исполнено со всею точностию, но не с той удачею, каковую я ожидал. Пехота тихо пробралась ложиною и, бросаясь в село... попала в средину хотя оплошного, но сильного неприятельского батальона. Огонь затрещал из окон и по улице... Герои! Они опирались брат на брата и штыками пробивали себе путь к Бугскому полку, который подал им руку. В пять минут боя из шестидесяти человек тридцать пять легло на месте или было смертельно ранено».

Чеченский вместе со своим Бугским полком запер в селе польский батальон, который с остервенелостью отстреливался из деревенских изб и огородов. Что делают в таких случаях настоящие партизаны, чеченцы и казаки? Долго не думают, это вам не кордебалет, это война народная. Москву уже сожгли к тому времени — пришло время отмщения. Избы с засеваемыми в них поляками подожгли.

«Избы вспыхнули, и более двухсот человек схватилось пламенем, — без особенных эмоций расписывает Давыдов; но он специально только что заметил, что у него за пять минут боя было убито или тяжело ранено 35 человек, какие уж тут сантименты: — Поднялся крик ужасный, но было поздно! Видя неминуемую гибель, батальон стал выбегать из села вроссыпь. Чеченский сие приметил, ударил и взял сто девятнадцать рядовых и одного капитана в плен».

Когда два других польских батальона подошли на помощь, Давыдов отступил. Отдыхать направился после такого боя? Нет. «В это время один из

посланных разъездов к стороне Вязьмы уведомил меня о расположенном артиллерийском парке версты за три от места сражения, за столбовою дорогою. Я, отправя раненых в Покровское под прикрытием Тептярского полка, помчался с остальными войсками к парку и овладел оным без малейшего сопротивления».

В тот же день Давыдов со своими ребятами отбил ещё и колонну из четырёхсот русских пленных солдат. Вскоре формулировку своей деятельности он даст предельно честную и чёткую: «Убить да уйти — вот сущность тактической обязанности партизана». Хотя бывало, конечно, по-всякому.

«За два часа пред рассветом все отделения были в движении. Первый отряд остановился в лесу за несколько саженой от мостика, лежащего на речке Вязьме. Два казака взлезли на деревья для наблюдения. Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. Десять человек сели на коней, бросились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был 4-го Иллирийского полка полковник Гетальс, большой охотник стрелять и пороть дичь и опередивший расстроенный баталион свой, который шел формироваться в Смоленск. С ним была лягавая собака и в сумке — убитый тетерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил, задумчивый, большими шагами; но каждый раз, когда попадалась ему на глаза лягавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке, — каждый раз он брал позицию Тальмы в «Эдипе» и восклицал громким голосом: «Malheureuse passion!» («Пагубная страсть!»), каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое, — увы! — уже в руках казаков, или на тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения, — он повторял то же и снова зачинал ходить размеренными шагами. Между тем стал показываться и баталион. Наши приготовились, и, когда подошел он в надлежащее расстояние, весь отряд бросился на него: передние казаки вроссыпь, а резерв — в колонне, построеной в шесть коней. Отпор был непродолжителен. Большая часть рядовых побросала оружие, но многие, пользуясь лесом, рассыпались по оному и спаслись бегством. Добыча состояла в двух офицерах и в двухстах нижних чинах».

Следующие бои были в деревнях Крутое и Осмино, в районе Вязьмы — там стоял разделившийся на две части отряд противника. Начали с деревни Крутое.

«...вместо того, чтобы нам прибыть часа за два перед вечером, мы прибыли тогда, как уже было темно. Надо было решиться: или отложить нападение до утра, или предпринять ночную атаку, всегда неверную, а часто и гибельную для атакующего. Всякое войско сильно взаимным содействием частей, составляющих целое. А как содействовать тому, чего не видишь? К тому же мало таких людей, которые исполняют долг свой, не глядя на то, что на них не глядят. Большая часть воинов лучше воюет при зрителях. Сам Аякс требовал денно-

го света для битвы. Я знал сию истину, но знал также и неудобства отлагать атаку до утра, когда ржание одной лошади, лай собаки и крик гуся, спасителя Капитолия, — не менее ночной атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеждой на Бога, мы полетели в бой. Мелкий осенний дождь моросил с самого утра и умножал мрак ночи. Мы ударили. При резервном полку осталась пехота. Передовая неприятельская стража, запрятанная под шалашами, спокойно спала... и не проснется! Между тем Храповицкий и Чеченский, вскакав в деревушку, спешили несколько казаков и с криком ура! открыли огонь по окнам. Подкрепя их сотней человек пехоты и взяв две сотни казаков из резерва, я бросился с ними чрез речку Уду, чтобы воспретить неприятелю пробраться к Вязьме окружною дорогою. Мрак ночи был причиною, что проводник мой сбился с пути и не на то место привел меня, где обыкновенно переезжают речку. Это принудило нас спуститься как попало с довольно значительной крутизны и кое-как перебраться на ту сторону. Не зная и не видя местоположения, я решился, мало-помалу подвигаясь, стрелять как можно чаще из пистолетов и во всю мочь кричать «ура!». К счастью, неприятель не пошел в сию сторону, а, обратясь к Кикину, побежал в расстройстве по дороге, которая лежит от Юхнова к Гжати. Мы гнали его со всюю партиєю версты четыре... В сем деле мы взяли в плен одного ротмистра, одного офицера и триста семьдесят шесть рядовых. А так как по случаю ночной атаки я велел как можно менее заниматься забиранием в плен, то число убитых было не менее пленных».

(Если повторить это без обиняков, то Давыдов тогда приказал неприятелей, невзирая на то, сдаются они или нет, убивать. И, к несчастью, такой приказ имеет объяснения: днём пленных можно согнать в кучу и поставить возле них двух человек, а ночью? Электрических фонарей тогда не было — пленных как соберёшь, так они и разбегутся; или в любую минуту могут броситься на охрану и её передуть. Выбора, увы, не оставалось. В завершение темы добавим, что русские крестьяне пленных не брали даже днём: тут, видимо, уже мужицкий ум говорил — лишний рот, зачем он, в гости никого не звали.)

По-суворовски, не давая противнику подготовиться, из Крутого Давыдов тут же направился в Лосмино: 24 часа на ногах, да ещё и в бою, — это был славный переход. Прибыли к рассвету.

«Дождь не переставал, и дорога сделалась весьма скользкою. Противник мой имел неосторожность забыть о ковке лошадей своего отряда, которого половина была не подкована. Однако, по приходе моем к Лосмину, он меня встретил твердою ногою. Дело завязалось. В передовых войсках произошло несколько схваток, несколько приливов и отливов, но ничего решительного. Вся партия построилась в боевой порядок и пустилась на неприятеля, построенного в три линии, одна позади другой. Первая линия при первом ударе была опрокинута на вторую, а вторая — на третью. Все обратилось в бегство. Надо было быть свидетелем этого происшествия, чтобы поверить замешательству, которое произошло в рядах французов. Сверх того половина отряда стала

вверх ногами: лошади, не быв подкованы, валились, как будто подбитые картечами; люди бежали пешком в разные стороны без обороны. Эскадрона два построились и подвинулись было вперед, чтобы удержать наше стремление, но при виде гусаров моих, составявших голову резерва, немедленно обратились назад без возврата. Погоня продолжалась до полудня; кололи, рубили, стреляли и тащили в плен офицеров, солдат и лошадей; словом, победа была совершенная. Я кипел радостью!»

Это были превосходные, именно с военной точки зрения, победы: очевидно, что и адъютантом при Багратионе, и в авангарде Кульнева Давыдов пробыл не зря. Заметим тут, что некоторая его остервенелость могла объясняться потерей своих учителей: Кульневу ещё до Бородино, в одном из сражений с французами, оторвало ядром обе ноги, и он вскоре молча, не проронив и слова, умер; Багратион же получил тяжёлое ранение в Бородинском сражении и скончался через две недели. Мы уже не говорим в подробностях о тех непрерывных грабежах, зверствах и насилиях, что творили захватчики: бессудные расстрелы, церкви, отведённые под конюшни, прочие отвратительные чудачества; чего стоит одна только история, когда французы потехи ради связали бородами двух православных батюшек, дав обоим рвотное... О делах под Крутым и Лосмино — как и о всех прочих — Давыдов отправил реляцию Кутузову; но в этот раз гонца по дороге изловили французы.

В октябре Давыдову довелось, хоть и не с глазу на глаз, но всё-таки повидаться с Наполеоном, уже вовсю бежавшим из Москвы.

«21-го, около полуночи, — пишет Давыдов, — партия моя прибыла за шесть верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней, весьма скрытно. За два часа пред рассветом мы двинулись на Ловитву. Не доходя за три версты до большой дороги, нам уже начало попадаться несметное число обозов и туча мародеров. Всё мы били и рубили без малейшего сопротивления. Когда же достигли села Рыбков, тогда попали в совершенный хаос! Фуры, телеги, кареты, палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь — все валило толпою. Если б партия моя была бы вдесятеро сильнее, если бы у каждого казака было по десяти рук, и тогда невозможно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я решился, еще пред выступлением на поиск, предупредить в том казаков моих и позволить им не заниматься взятием в плен, а, как говорится, катить головнею по всей дороге. Скифы мои не требовали этому подтверждения; зато надо было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников! Надо было быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом ободряющих, со стрельбою защищающихся, с треском на воздух взлетающих артиллерийских палубов и с громогласным «ура» казаков моих! Свалка эта продолжалась с некоторыми переменами до времени появления французской кавалерии, а за нею и гвардии. Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала строиться. Между тем гвардия Наполеона, посредине коей он сам находился, подвига-

лась. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я весьма уверен был, что бой не по силе, но страшно хотелось погарцевать вокруг его императорского и королевского величества и первому из отдельных начальников воспользоваться частью отдать ему прощальный поклон за посещение его. Правду сказать, свидание наше было недолговременно; умножение кавалерии, которая тогда была еще в положении довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и уступить место громадам, валившим одна за другою. Однако во время сего перехода я успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто восемьдесят человек и двух офицеров...»

Уже взятых в плен Давыдов никогда не казнил, но кормил, перевязывал и неизменно отправлял в главную квартиру действующей армии. Много позже другой отменный вояка (но явно завидовавший воинской славе Давыдова), поэт Александр Бестужев-Марлинский, в письме своему знакомому упоминает, что однажды Давыдов перерезал горло сдавшимся под честное слово французским офицерам. Но сам Бестужев в войне 1812 года не участвовал, пересказывал с чужих слов, подтверждений тому никаких нет, так что... Зато был другой случай: одного из пленных, пятнадцатилетнего французика Викентия, которого уже собирались казнить поймавшие его мужики, Давыдов спас и даже оставил в своём отряде, переодев в мужичкое и вооружив. Этот Викентий дойдёт с Давыдовым до Парижа.

26 октября партизанские отряды Давыдова, Фигнера, Сеславина выдвинулись западнее Ельни: в районе Ляхово в это время находилась бригада генерала Ожеро. Далее цитируем «Гибель наполеоновской армии в России» П.А. Жилина: «Было принято решение соединиться всем отрядам и совместно с направлявшимся сюда отрядом генерала Орлова-Денисова внезапно атаковать противника. Утром 28 октября партизаны, насчитывающие около 1500 человек, окружили бригаду генерала Жан Пьера Ожеро (более 2500 человек). Атакованный противник яростно сопротивлялся, но, по словам Орлова-Денисова, «окруженный со всех сторон, отрезанный от всякого сообщения со своими, не имел в том успеха и потерпел жёсткое поражение». Безвыходное положение войск Ожеро и понесённые большие потери («всё поле, на котором было действие, покрыто его телами») заставили их сложить оружие. Кроме генерала Ожеро, в плен было взято 60 офицеров и около 2000 солдат. «Победа сия, — доносил Кутузов царю, — тем более знаменита, что при оной ещё первый раз в продолжение нынешней компании неприятельский корпус сдался нам».

31 октября за отличия Давыдов был произведён в полковники. 4 ноября он участвует в деле под Красным (где этот блистательный полковник взял в плен сразу двух генералов: Альмерона и Бюрта, не считая других пленных), 9 ноября под Копысом (где разгромил кавалерийское депо, которое охраняли 3 тысячи солдат), 14 ноября под Белыничами (где снова в жесточайшем бою

столкнётся с поляками), а 9 декабря, с разлёта, его партизанский отряд... берёт польский город Гродно. Правда, здесь основная заслуга предприятия принадлежит всё-таки уроженцу Чечни.

«Восьмого числа, — повествует Давыдов, — Чеченский столкнулся с аванпостами австрийцев (Австрия тогда ещё была союзницей Наполеона — **прим. З. П.**) под Гродною, взял в плен двух гусаров и, вследствие наставления моего, немедленно отослал их к генералу Фрейлиху, командовавшему в Гродне отрядом, состоявшим в четыре тысячи человек конницы и пехоты и тридцать орудий. Фрейлих прислал парламентаря благодарить Чеченского за снисходительный сей поступок, а Чеченский воспользовался таким случаем, и переговоры между ними завязались...»

Генерал Фрейлих отчего-то хотел уничтожить все запасы в городе, на что Чеченский резонно и, быть может, не без некоторого природного акцента, отвечал: «Слушайте, а зачем? А что мы будем кушать, когда придём? Нам придётся немедленно отправляться за вами вослед, генерал, чтоб питаться вашим провиантом». «После нескольких прений, — скупко сообщает Давыдов, — Фрейлих решился оставить город... и потянулся с отрядом своим за границу». Запасы же чь не стал.

Девятого числа Денис Васильевич со товарищи вошёл в Гродно. Его встречало восторженное еврейское население. «...увлечённый весёлым расположением духа, не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не сыграть фарсу на манер милого балагура и друга моего Кульнева: я въехал в Гродно под жидовским балдахинном... Исступленная толпа евреев с визгами и непрерывными «ура!» провожала меня до площади»...

Однако во время зарубежного похода Денису Васильевичу пришлось немного отвыкать от своих пугачёвских замашек.

Партизанские услуги его были уже не нужны, и Давыдова направили под начало генерал-лейтенанта барона Винцингероде. После тех невообразимых побед, что превращали послужной список Давыдова в пухлый, увлекательнейший фолиант, и той невероятной славы, что сама будто стелилась ему под ноги, смиряться с подчинённым положением ему было не просто.

Вскоре Давыдов решается на поступок дерзкий, по принципу «либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Никому толком не сказавшись, он задумал покорить город Дрезден. Стоит же город на пути, как не взять. Гарнизон, находившийся в Дрездене, превышал по численности лёгкий отряд Давыдова. Но разве это могло его остановить?

После первой атаки, когда Бугский полк под руководством неизменного Чеченского влетел в палисады пригорода и тут же развернулся, пришло время, за неимением должного количества войск и артиллерии как таковой, использовать воинскую хитрость.

Давыдов велел разложить вокруг Дрездена бивачные огни, чтоб создалось впечатление, что здесь не менее трёх тысяч солдат. В то время как у каждого

костра сидело, в лучшем случае, по два казака, и со скуки перекрикивались: «А шёл бы ко мне, Емельян?» — «Да больно далеко к тебе, Стёпа!»

Снаряжая для переговоров старого боевого товарища Храповицкого, в добавление к уже имевшимся орденам Давыдов нацепил ему ещё и своих собственных, дабы вид посланника получился убедительным и важным.

Поутру имевшихся в наличии гусаров Ахтырского полка в количестве пятидесяти и четыреста казаков Давыдов выстроил в виду города: выдавая за авангард подступающей армии.

Гарнизон, не будь он так перепуган, мог выйти б и разметать эту команду. Впрочем, команда ускакала б ещё быстрее, и, наверное, была к тому вполне готова. Давыдов, однако, побеждал психологически, своей ослепительной наглостью: бряцающий орденами Храповицкий потребовал, чтоб сдающийся гарнизон при вступлении русских войск был выстроен при параде, звучал барабанный бой, и ещё чтоб при въезде Дениса Васильевича сделали на караул.

Коменданту пришлось соглашаться.

Едва ли можно вообразить чувства гарнизона, когда наутро, под барабаны, в Дрезден вошли несколько сот казаков, пять десятков гусар — и всё. Больше в округе не было никого, сколько в подзорную трубу ни гляди.

Зато каких гусар! Зато каков был их вожак! Маскарад же нужно было отыграть до конца!

Давыдов, до сих пор так и не побрившийся с партизанских своих приключений, с окладистой бородой, въехал на лучшем коне в красных шароварах, красной шапке с чёрным околышем и в чёрном чекмене, с черкесской саблей на боку. Окружение его выглядело не хуже.

Ну, Пугачёв же! Только колокольного звона и хлеба-соли не хватало.

Однако закончилась эта история куда хуже, чем начиналась: когда в Дрезден явился, наконец, барон Винцингероде, Давыдов получил жесточайший разнос: да как он посмел взять без приказа город? Да кто? Кто ему позволил?!!

Давыдова отстранили от командования полком.

Его могли бы вообще лишить всех званий, в крепость засадить за самоуправство, но обошлось: спасло заступничество Кутузова. Император Александр I, поразмыслив, обронил: «Победителей не судят».

Что с него возьмёшь, партизана.

В очерке «Занятие Дрездена» Давыдов сухо сообщает о зарубежном походе российской армии: «Впоследствии я служил то в линейных войсках, то командовал отрядами, но временно, без целей собственных, а по направлению других. Самая огромная команда (два полка донских казаков) препоручена мне была осенью, но и тут не отдельно, а под начальством австрийской службы полковника Менсдорфа...»

Нет, не такого, конечно же, ожидал Давыдов: после Дрездена, думал он, его пожалуют наградами и скорейшим произведением в следующее, уже ге-

неральское, звание. Вместо этого он, сам будучи полковником, подчинился полковнику австрийскому. И в официальных реляциях о взятии Дрездена имя его даже не упоминали.

Другой бы и в этот раз попросил отставки — но что в отставке делать?

Поступив в отряд генерал-майора Сергея Николаевича Ланского, Давыдов участвует 21 апреля в бою под Пределем, 22-го под Гартой, 23-го под Эцдорфом, 24-го под Носсеном, 25-го под Юбигау. Наконец, 8 и 9 мая — в большом сражении под Бауценом. Там же участвовали: в качестве адъютанта генерала Милорадовича поэт Фёдор Глинка, офицер Преображенского полка поэт Павел Катенин и служивший в Семёновском полку будущий философ Пётр Чаадаев.

После того как с Наполеоном было заключено перемирие, Давыдов поступил в корпус генерала Михаила Андреевича Милорадовича в качестве командира четырёх сводных эскадронов и части Татарского уланского полка. В это время Глинка и Давыдов познакомились и не раз встречались.

По окончании перемирия, 15 августа 1813-го, Давыдов был в бою под Риотау, 8-го сентября под Люценом (там снова участвуют уже упомянутые Павел Катенин и Пётр Чаадаев), 10-го — под Цейцом.

В октябре случится битва народов под Лейпцигом, о чём Давыдов впроброс упомянет лишь однажды: «...видел сшибки полмиллиона солдат и 3000 пушек на трёх и четырёх верстовых пространствах».

Далее, в авангарде, Давыдов гонит французов до Рейна.

Позже он пояснит, что Милорадович снова определил его в «партизаны» — то есть, судя по всему, Денис Васильевич выпросил себе право терзать и потрошить войска Наполеона, действуя по своему разумению. Это вернуло хотя бы отчасти Давыдову ощущение свободы — но зато лишало его наград: действия его происходили не на виду у всех, да и некоторая ревность к его непомерной славе в штабах уже существовала.

Перейдя через Рейн, в 1814 году Давыдов получает в командование 4-й Уральский и Оренбургский полки в отряде князя генерал-майора Александра Щербатова.

17 января Давыдов принимает участие в первом же сражении на французской земле при Бриенне. Тот бой был на редкость ожесточённым — французской армией командовал сам Наполеон, и для обеих армий было важно одержать первую победу именно здесь, за Рейном.

Отсюда и события того дня, почти нереальные: невесть откуда взявшийся казачий разъезд (жаль, не давыдовские казаки) заметил Наполеона со свитой и атаковал — император был вынужден лично обнажить саблю, чтоб отбить удар казачьей пики: такого не случилось за весь русский поход никогда.

Обе стороны к вечеру потеряли по три тысячи человек и остались на тех же позициях, где и начали бой.

20 января Давыдов сражается при Ла-Ротьере. Пехотная бригада французов, стоявшая в центре позиций, будет рассеяна именно давыдовскими казаками; на сей раз Наполеон потерпел поражение и был вынужден отступить.

За это сражение Давыдов получил давно заслуженное звание генерал-майора. Он был уверен, что по праву: такую победу нельзя было игнорировать — случилось поражение Наполеона на французской земле!

Однако праздновать генеральские эполеты было совершенно некогда. 30-го был бой под Монмиралем, и на этот раз отступить пришлось русским, 31-го новый бой под Шато-Тьерри — ещё одно поражение, причём за два дня русские потеряли три с половиной тысячи человек.

Чёртова круговерть!

К тому ж в феврале Давыдову тогда объявили, что звание генерал-майора им получено по ошибке: тут, впрочем, не было ни интриг, ни зависти, ни злого умысла, а только путаница в документах. Но как же неприятно! Как уничительно!

Давыдову несколько раз передают в подчинение сводные соединения из нескольких полков, в том числе и Ахтырского — а с ахтырцами у Давыдова столько было связано: избранные из их числа гусары вместе партизанили с ним в России, въезжали в Гродно и, запугав коменданта и гарнизон, брали Дрезден. Но управляться с ними будучи генералом всё-таки было б веселее, нежели полковником.

Любопытный факт: в Ахтырский полк тогда поступил Пётр Чаадаев; под начальством Давыдова он участвовал в мартовских кровавых боях под Краоном и под Фер-Шарпенуазом.

Битвы эти Давыдов много позже описал в одном из писем: «Говорят, что спасло нас местоположение, не позволявшее неприятелю, вдсятеро нас сильнейшему, обойти оба фланга нашего корпуса. Но, видя препятствия эти собственными глазами, я и тогда находил их не столь крутыми, чтобы быть недоступными пехоте. Как бы то ни было, но фланги наши, примыкавшие к крутым отлогостям, оставались во всё сражение без нападения. В этом сражении наш генерал-лейтенант Ланской был смертельно ранен и умер от раны, генерал-майор Ушаков убит, Юрковский ранен, Дм. В. Васильчиков ранен — словом, все кавалерийские генералы (кроме Лар. В. Васильчикова) были убиты или ранены, и я, будучи полковником, несколько дней командовал 3-й Гусарскою дивизиею. Мне прострелили пулями кивер и рукав ментика, картечью отбило сабельные ножны и прострелило глаз у лошади...

Замечательно, что в сем деле 10 тысяч конницы было послано в обход для нападения на правый фланг неприятеля, полагая, что тем разобьют Наполеона. Этой конницею командовал генерал Винцингероде, который, отошедши вёрст пять от поля сражения, остановился кормить лошадей и далее не пошёл. Нашего брата за это засудили бы, но Винцингероде всё с рук сходило.

Я также был под Фер-Шарпенуазом, шёл от Шалона во главе Блюхеровой армии, командуя гусарскою бригадою, составленной из Ахтырского и Белорусского полков. От частых битв в течение сей кампании моя состояла только в 900 всадников, не более. Я семь раз атаковал колонну Пактода — и всё безуспешно. Несколько раз наезжал на рогатки штыков, поставленные этой колонною, и всё тщетно. Причина упрямства моего состояла не в том, чтобы я надеялся врезаться в середину этой огромной массы, ибо я в сравнении с нею много уступал ей в числительной силе, — но для того, чтобы не давать ей ходу до прибытия артиллерии и большого числа конницы мне на подмогу, что и случилось. Прибывшая конноартиллерия прояснила несколько ряды сей колонны, мы бросились на неё: с одной стороны, конно-егеря графа Павла Петровича Палена и Кинбурский драгунский полк, а с другой — моя бригада, и колонна легла под нашим лезвием».

Так пришла череда побед русских и союзных войск.

В марте, в бою при подходе к Парижу, под Давыдовым было убито пять лошадей! Но очередной прорыв к артиллерии сквозь гусар бригады Жакино был всё-таки совершен, и артиллеристы перерублены.

В парижские предместья ахтырцы сначала ворвались одними из первых. Затем, когда французы капитулировали, полк вошел в Париж торжественным парадом.

Родитель того Викентия, которого Давыдов спас когда-то от мужицкой расправы в русской деревне, явился к Давыдову и попросил дать сыну рекомендацию. Денис Васильевич удивился: какую ж ему рекомендацию, если он против своих воевал? «Нет, — говорит отец Викентия — он воевал против Наполеона, а теперь у нас законный монарх пришёл к власти». Давыдов пожал плечами и красочно расписал на официальной бумаге дела Викентия. Не прошло и месяца, когда Викентий явился похвастаться орденом. Давыдов был несколько озадачен новыми французскими порядками. К тому ж ему так легко ордена не давались.

В мае он, испросив шестимесячный отпуск, отправился в Москву.

Поучаствовав в десятках сражений, ночных экспедиций, сабельных рубок, атак и отступлений, за два года войны Давыдов не был даже ранен. Счастливая, казалось бы, судьба? По сравнению с павшими или изуродованными — безусловно. Но по сравнению со многими сверстниками Давыдова, далеко обошедшими его в количестве наград, — не столь удачливая; своё генеральское звание — врученное и забранное назад — Давыдов возвращал в мытарствах и неврозе целый год.

Только после личного письма Давыдова императору Александру I («...В Пруссии, Турции, Швеции, России и Германии, везде, где у Вашего Величества были враги, я сражался с ними...») звание наконец вернули.

В промежутке между этой войной и следующей Давыдов успел многое, причём за некоторые дела лучше б и не принимался.

Он приступил к написанию военных мемуаров и вернулся к поэзии. Смертей было так много за последнее время, что стихи писались чаще всего лирические, любовные. (Соответственно, и несколько увлечений у него тоже случилось.)

Он вошёл в «Орден русских рыцарей», одновременно являвшийся и предекабристским сообществом, и масонской ложей, и патриотической организацией.

Та же участь постигла огромное количество русских офицеров, вернувшихся из зарубежного похода: стремление в масонские ложи было повальным, и лишь самые прозорливые покидали их в кратчайшие сроки — Давыдов в их числе.

Первоначальный устав общества написал Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — богат и оригинал, в Отечественную войну он пожаловал огромные деньги на создание собственного полка, куда изначально пытался определиться поэт Пётр Вяземский. «Орден русских рыцарей» ставил целью построение конституционного порядка в России, ограничение абсолютной власти государя и... противостояние польскому влиянию.

Дело в том, что в 1815 году по настоянию Александра I было образовано Царство Польское, вошедшее в состав Российской империи на правах автономии; поляки имели собственную конституцию, армию, правительство, положение об использовании своего языка в сейме, делопроизводстве, суде, школе и т. д., причём распространялось это и на правобережье Днепра, где таким образом ополячивалось украинское население. Поляки настаивали на присоединении к ним западных окраин России, и казалось, что Александр согласен с ними: два учебных округа — Харьковский и Виленский — были устроены по образцам польской образовательной реформы, их курировали польские аристократы; в российском обществе, и в первую очередь среди военных, шли устойчивые слухи, что вся Украина и Прибалтика будут аннексированы в пользу Польши.

Сейм получил право отвергать законы, предлагаемые российским правительством, поляки имели огромное количество финансовых преференций; Александр I очевидным образом питал к Польше слабость, брат его Константин Павлович не скрывал, что поляки ему нравятся больше, чем русские.

В офицерской среде это вызывало всё большее раздражение: разве за польские выгоды воевали и прошли Европу до Парижа?

К «Ордену...» имели отношение такие значительные персонажи, как будущий шеф III отделения Александр Христофорович Бенкендорф или генерал-майор Михаил Фёдорович Орлов (офицер, давний военный знакомый Давыдова, любимец российского императора, принимавший капитуляцию Парижа!), в скором будущем он возглавит декабристов Кишинёва.

Дмитриев-Мамонов, Бенкендорф, Орлов и, наконец, Давыдов — все они были безусловной элитой государства. Так называемые «декабристские» сообщества начинались, как мы видим, с генералов, а закончились, как позже съездив поэт Пётр Вяземский, подпрапорщиками.

«Орден русских рыцарей» существовал меньше года, и к последующим заговорам ни малейшего отношения не имел.

В ноябре 1816 года Давыдов командует 1-й бригадой 2-й гусарской дивизии, Ахтырским и Александрийским полками, стоит меж Вильно и когда-то захваченным его отрядом Гродно; в феврале 1818-го служит начальником штаба в разных корпусах, ждёт с нетерпением хоть какой-нибудь войны, потому что штабная работа ему совсем не по сердцу, но войны всё нет и нет, в итоге в 19-м году Давыдов женится, в 20-м уходит в длительный отпуск, а в 23-м — в отставку. Поначалу думал, наверное, что навсегда.

В отпуске, перешедшем в отставку, Давыдов написал работу «Опыт теории партизанского действия» — профессиональный труд военного тактика (и, само собой, практика); начал «плодиться» (всего у Давыдова будет девять детей); познакомился и подружился с Пушкиным (написавшим ему великолепные стихи в посвящение, ибо кто ещё может так вдохновлять поэта, как герой и воин), купил дом в Москве — в общем, всё шло на лад.

Декабристское восстание никак не коснулось Давыдова (когда двоюродный брат, декабрист Василий Львович Давыдов, предложил ему участие в заговоре, Денис Васильевич — вспомните его пугачёвский тулупчик — ответил: «Полно, я этого не понимаю; бунт, так бунт русский — тот хоть погуляет, да бросит; а немецкий — гулять не гуляет, только мутит всех. Я тебе прямо говорю, что я пойду его усмирять»).

В конце концов, просидев три года дома, Давыдов испросил у нового императора Николая I разрешения вернуться в армию. Тот предложил ему Кавказ.

В этом жесте императора порой ищут подвох: якобы Николай I решил убрать с глаз долой ненадёжного генерала, друга многих декабристов. Вообще говоря, декабристы были друзья едва ли не всему высшему свету, а надёжность свою Давыдов доказал уже многократно.

Нет, тут всё объясняется совсем просто: на Кавказе началась вторая русско-персидская война. В середине июля 1826 года 40-тысячная шахская армия при 42 орудиях, под командованием наследного принца Аббас-мирзы, вступила в пределы России в районе Карабаха. Армия шаха была вымуштрована и снаряжена на европейский лад, и сопровождали эту армию те, кто её готовил, — многочисленные английские инструкторы.

Командующий отдельным Кавказским корпусом Алексей Петрович Ермолов приказал корпусным войскам сосредоточиться под Тифлисом, но сбор происходил медленно, а шахская конница уже была в 70 верстах от города.

Император Николай I требовал решительных действий, наступления («...докажите персиянам, что мы ужасны на поле битвы», — писал он), но какое тут наступление, когда в день нашествия на границе находилось около трёх тысяч русских войск.

Как бы к Давыдову ни относились, но его славное военное имя весило много. Тем более что Ермолов ещё до начала войны спрашивал о возможности вызова Давыдова к себе в помощь.

Денис Васильевич, хоть и стал уже отцом трёх детей и жена была беременна четвёртым, на предложение императора согласился: 15 августа, всего через три дня после аудиенции у Николая I, он отправился на очередную свою войну.

10 сентября Давыдов был в Тифлисе.

Персияне тогда встали под крепостью Шуши, где засел русский гарнизон в 1300 человек, — и взять её никак не могли. Ермолов с десяти тысячным корпусом смог удержать персидское воинство и, в сущности, не проявлял ни малейших признаков беспокойства, не говоря — паники.

Он передал Давыдову отряд грузинской конницы в шестьсот сабель, с величайшим тактом отписав ему при этом, что «продолжительный мир ослабил здешних жителей воинственность», — мол, Денис Васильевич, не ждите от них слишком многого. Тем не менее Давыдову было поручено атаковать одно из подразделений персидской армии — под руководством Гассан-хана.

20 сентября Денис Васильевич потрянул стариной и со своими грузинами и донцами затеял кавалерийскую сшибку с авангардной частью персов. Много кого уже саблём пробовал на крепость, а персов нет. Авангард разбежался.

21 сентября Давыдов вышел на четырёхтысячный отряд Гассан-хана, готовый к бою и располагавшийся на каменистой возвышенности. Позиции персов были отличные: с правого фланга Миракский овраг, с левого — отроги Алагёза.

Но Давыдов уже атаковал и точно знал, что делает.

Сначала оттеснили персидскую конницу с правого фланга и, поставив орудия на высотах левого берега Баш-Абарани, принялись отгонять правый фланг ещё дальше. В это время рота наших карабинеров, преодолев кручи Алагёза, зашла персам в тыл и навела там шумный беспорядок. Персы дрогнули и побежали всем отрядом. Никакие английские инструкторы, с которыми, напомним, Давыдов, хоть и опосредованно, встречался третий раз, персов спасти не смогли.

22 сентября Давыдов был уже на территории Эриванского царства. Разорив семь местных селений, со своим отрядом он встал в двух переходах от Эривани — будущего Еревана. В сущности, Давыдов мог попытаться его взять,

но ему уже хватило приключения с Дрезденом. К тому же он подцепил местную лихорадку и еле сидел в седле.

Немного не хватило, чтоб о нём говорили: а вот тот самый Давыдов, что брал Дрезден и Ереван, — редкий всё-таки был бы географический разброс. Впрочем, он столько всего сделал в своей боевой жизни, что и так не пожалуешься.

23 сентября отряд Давыдова по приказу Ермолова повернул обратно.

Тем временем российские войска под руководством генерал-лейтенанта Ивана Фёдоровича Паскевича разбили основную часть персидских войск.

В конце ноября Давыдов съездил в отпуск в Москву и через полтора месяца вернулся в Тифлис.

Ермолова, с которым Давыдов был дружен, с поста заместителя Кавказа убрали и назначили на его место Паскевича. Давыдова же направили в подчинение генерал-майора Никиты Панкратьева, который ни по заслугам, ни по количеству лет, проведённых на военной службе, с Давыдовым равняться не мог.

Давыдов тактично отписал в Генеральный штаб графу Дибичу: или дайте мне, генерал-майору, в ведение соответствующие по численности отряды и задачи, либо верните обратно в Москву до следующей войны.

Осенью 1827-го, спустя год, Давыдов вернулся домой.

(Эриванскую область, в которую стремительным суворовским броском ворвался Давыдов, Россия всё-таки получила в качестве трофея по окончании войны с Персией в 1828 году. Паскевича с тех пор называли Паскевич-Эриванский.)

Отвадило ли Давыдова такое незаслуженное отношение к нему от Кавказа и, более того, от воинской службы?

Должно быть, обида сначала была. Но через полтора года Давыдов уже просился назначить его начальником Кавказской линии. К сожалению, безуспешно. Это, наверное, уже всерьёз его огорчило.

В 1829 году Давыдов, почти безвыездно проживая в симбирской своей деревне, затоскует ещё пуще и напишет, наверное, лучшую свою военную элегию, удивительную в своей простоте и пронзительной ясности:

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековой славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...
О, ринь меня на бой ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках

Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь гомерический, Багратион великий!

.....
Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

Казалось бы, такие стихи возможно сочинить про определённых умениях; загвоздка и в том, что пушкинская простота их обманчива и почти недостижима, и в том, что сначала их нужно прожить, многие годы непрерывно воюя, — и только так они вдруг обретают ценность золота и легчайший вес птичьего пера. Сымитировать это возможно, но веры вам не будет, а здесь веришь всему, и глаза написавшего элегию человека видишь. Спустя век, а то и два, эти строки возможно повторять, с тем самым детским чувством, когда нестерпимо ноет под ложечкой.

В 1830 году, словно одолеваемый новыми предчувствиями, — хотя очередной войны ничего не предполагало, — Давыдов пишет короткое стихотворение на ту же тему и с тем же смыслом, что было написано им в 1811 году: о виртуозе, который ждёт своей ратной песни.

Теперь заново перебранные слова звучали ещё точней:

Я не поэт, я — партизан, казак,
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалиясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой —
Я в этой песне запевало.

(«Ответ»)

И в начале 1831 года Давыдов отправляется на очередную войну, на этот раз русско-польскую, которую он на весомых основаниях считал ближайшей родственницей грозе 1812 года.

Есть у Давыдова книга «Воспоминания о польской войне 1831 года», которой не повезло более всех остальных его военных записок: при Николае I она была запрещена, и затем, в XX веке, её так и не издали.

В этой книге Давыдов вспоминает события, последовавшие вслед за взятием Парижа: «Англия, Австрия, Пруссия, Швеция и прочие союзные государства были вознаграждены расширением границ своих за счёт владений

Наполеона и его союзников. На долю главной виновницы сего чудного переворота — России — досталось герцогство Варшавское». (Герцогство Познанское при этом досталось Пруссии, а Галиция — Австрии, хотя Галицией владели ещё древнерусские князья.)

К Польше у России были разнообразные и давние счёты, но, в сущности, достаточно было и того, что десятки тысяч поляков добровольно, а не по набору, пришли сюда вместе с Наполеоном.

Тем не менее, предваряя свои воспоминания, Давыдов считает необходимым дать подробнейшую справку о том, как Россия вела себя по отношению к полякам после победы.

«Попечениями российского правительства земледелие, промышленность, торговля царства приведены в цветущее состояние. В первые годы владычества России над этим царством, изнурённым войнами, контрибуциями всякого рода, все расходы были приняты Россией на свой счёт, доходы же его были обращены лишь на удовлетворение потребностей царства...»

«Повсюду возникали фабрики, коих изделия умножились вдесятеро с 1815 года (эпоха поступления царства во владычество России). Устроены прекраснейшие шоссе и дороги».

«Польским войскам было назначено жалованье, значительно превышающее оклад, определённый российским; оружие всякого рода, порох и заряды были высылаемы с обилием из России; крепости были улучшены по новейшим системам... Наконец алчность поляков к почестям и наградам была вполне удовлетворена неисчислимыми щедротами его величества, ежегодно осыпавшего своими милостями поляков...»

«Заблуждения... монарха, — подводит итог Давыдов, — стоили нам очень дорого... Польша, чреватая мятежом, зарождённым в ней Александром I в минуты несчастной либеральной склонности его, нетерпеливо ожидала срока своего разрешения».

Поднимая восстание — а по сути, готовя полноценную войну с Россией, — поляки заранее планировали удары по Киеву, Бобруйску, Риге, потому что не только Галицию и Познань, но и большую часть Литвы, и Белоруссии, и Украины считали безусловной принадлежностью своей империи (к тому времени относится затеянная польскими литераторами работа по созданию «украинства» как части польской цивилизации; и всё это, заметим, проводилось при потворстве российских властей). В случае своей удачи поляки надеялись на военное вмешательство... Франции. То есть, по сути — на реванш.

Ситуация была схожа с 1812 годом даже во внешнеполитическом раскладе: тогда Россия, благодаря гению Кутузова, только что закончила тяжелейшую русско-турецкую войну, но и сейчас Россия едва выпуталась из очередной, 1827 — 1829 гг., русско-турецкой — армия наша была ослаблена (тысячи солдат покосила эпидемия чумы), — в общем, поляки собирались на всём этом сыграть.

Перед Польшей, согласно планам заговорщиков, стала задача установить в своей стране диктатуру, собрать двухсоттысячную армию, а дальше... нет, планов идти на Москву не было, поляки всё-таки сохраняли известное здравомыслие, однако бахвальное толки о Царстве Московском в качестве сателлита великой Польши, раскинувшейся от края до края, конечно, шли.

И как могло обернуться дело в случае удачи — то есть захвата не только Варшавы, но Киева и Риги — сложно даже предположить.

Русским наместником в Польше был в это время великий князь Константин Павлович, даже не подозревавший о готовящемся бунте.

Когда война уже разгорится, Константин Павлович неожиданно обронит о поляках: «Каковы мои! — молодцами дерутся».

Вскоре, подхватив холеру, великий князь умрёт, не дождавшись окончания войны. Но последнее слово его будет: «Скажите государю, что прошу его простить полякам».

Удивительный человек — ведь бунт начался с того, что 17 ноября 1830 года польские офицеры ворвались в Бельведерский дворец с намерением его убить; и это было заранее прописанной частью плана. Константин Павлович тогда чудом спасся, но не предпринял никаких действий по усмирению мятежа в зачатке. Лишь в конце января 1831 года, когда мятежники уже обладали всей полнотой власти и готовили расширение своего влияния, русская армия вступила на территорию Польши.

Это лишь на первый взгляд было борьбой с польским правом на свободу; по сути это была очередная война в числе прочего за свободу тех областей России, на которые Польша яростно претендовала, а то и за свободу России как таковой. И Пушкин, когда в том же году сочинял «Бородинскую годовщину», отлично это понимал.

«Не вся ль Европа тут была?» — вопрошал он, вспоминая 1812 год, и продолжал:

И что ж? Свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь...

(«Знакомый пир...»)

Другое дело, что, в отличие от вставшей в самоупоенный раж Польши, и Англия, и Франция так сразу решиться на новую войну, конечно же, не могли (они решатся несколько позже — в Крымскую кампанию).

Во-первых, они помнили, чем завершился год 1812-й, и России, безусловно, опасались, во-вторых, были связаны договорами и международными нор-

мами, в-третьих, желали увидеть результаты противостояния с поляками, а до тех пор готовы были помогать тайно, или, что называется, морально.

Поляки ничего этого в расчёт не брали.

«...новое правительство, — пишет Давыдов о варшавских мятежниках, пришедших к власти, — стало возбуждать нравственные силы поляков ложными обнародованиями о скором прибытии союзных флотов и армий на театр военных действий. Поляки верили...»

До чего ж нелепо все эти события воспроизводятся из столетия в столетие: только что мы могли наблюдать аналогичную картину на одной соседней территории, которую поляки считали и по сей день считают своей провинцией.

Но слушайте дальше.

«Ополчение, — рассказывает Давыдов, — двинутое для потушения мятежа, вспыхнувшего в области, торжественно признанной всеми государствами собственностью России, возбудило против себя всю либеральную милицию палат, чердаков и гостиных. Журналы, газеты, витии левых сторон английского парламента и обеих палат Франции, проповедники модных идей, модные люди, модные дамы, модные фразы и вообще всё модное завопило и стало дыбом на Россию».

«Чем поступок России предосудительнее поступков либеральной Англии или либеральной Франции? — вопрошает Давыдов. — Первой некогда относительно Американских Штатов, а ныне Ирландии и Индустана, а последней относительно Вандеи и африканских бедуинов».

«Не принимая этого в уважение, везде печаталось и провозглашалось, что Польша требует только ей принадлежащее, — удивляется Давыдов, — хотя мы знаем, что она требовала куда больше. Но Ирландия, Алжир и Индустан того же требуют, — продолжает он, — чего требовала Польша; отчего ж никто не вопиёт против Англии и Франции? Отчего же Англия и Франция не только не выполняют требований Индустана, Ирландии и Алжира, но употребляют, напротив, и силу оружия, и полицейские, и инквизиционные меры для удержания их за собою?»

Разве, задаётся вопросом Давыдов, «Алжир, Индустан и Ирландия посягали на независимость Англии и Франции»? Как посягала не раз Польша на независимость России, продолжим мы, и как посягала она сейчас на владение русскими землями.

Давыдов резюмирует, что русско-польская война «по своему влиянию на умы, угрожая России ужаснейшими последствиями, едва ли не была в сущности грознее войны 1812 года».

Давыдов здесь на удивление прозорлив, ведь необходимость сражения с Наполеоном могли отрицать только откровенные предатели, с какого-то времени опасавшиеся подавать голос; в то время как крикливая разноголосица и сумятица мнений, касающихся польской войны, порождала в итоге куда более тяжёлые результаты. Начиналось всё с неверия в оправданность поведения

России, следом приходила убежденность в преступности собственной власти и русской армии, даже если бы вослед за Польшей были взбунтованы Литва, Волынь, Подолия. А в качестве финала всего этого может наступить крушение государственности — оттого, что, если в деле нет правды, русский человек это дело может сгоряча и бросить, даже если речь идёт о его Отечестве. Скажет: да какое это Отечество — обман, подлость и кровь, ну его.

Поэтому, сравнивая войну 1812 года с войной 1831-го, Давыдов пишет: «Одну можно назвать бурей, другую заразой».

Зараза эта разрослась до такой степени, что позже Николай I признается: «Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была беременною... при мне оставалось лишь два эскадрона кавалергардов; известия же из армии доходили только через Кёнигсберг. Я нашёлся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталей солдатами».

Давыдов появился в районе боевых действий 12 марта. Встречавшие офицеры подняли его на руки: Денис Васильевич с нами!

Главнокомандующий генерал-фельдмаршал граф Дибич встретил Давыдова ласково, и начальник главного штаба генерал от инфантерии граф Толь тоже. Они направили Дениса Васильевича к генералу от кавалерии графу Витте в Люблинское воеводство. Давыдов тут же перешёл в непосредственное подчинение командующего корпусом генерала барона Крейца, заместившего графа Витте. Отчитываться о своих действиях Давыдов должен был генералу Ридигеру.

Рискуя показаться некорректными, всё-таки обратим ваше внимание на перечисленные фамилии: русских генералов у Николая I, сдаётся, не было вовсе. Вернее сказать, он, как и батюшка его, не слишком доверял народу, вверенному ему в управление.

Давыдову дали в командование летучий отряд: три казачьих полка и финляндский драгунский. Обязанностью Давыдова было наблюдение за десяти тысячным войском мятежника генерал-майора Иосифа Дверницкого — кстати, героического участника похода Наполеона в Россию.

Свой отряд и отряд генерала барона Гейсмара, имевшего ту же задачу, Давыдов образно назовёт «очами главной армии»: «Мы должны были неотступно с глазу на глаз находиться с неприятелем».

Беда в том, что Гейсмар, по словам Давыдова, обнаружил в польской войне «замечательную неспособность», а осторожный Крейц отметал любые давыдовские предложения.

В письме из Польши Давыдов напишет о своём основном противнике Дверницком: «Этот отличный и предприимчивый генерал в течение настоящей кампании разбил барона Гейсмара и взял у него 8 пушек, Крейца, у которого взял 5 пушек, и генерала Кавера, у которого взял 3 пушки».

«А у меня ни одной не возьмёт, потому что ни одной нет. Мне хотели дать 4, но я от них отказался...» — завершит он в письме из Польши этот грустный перечень.

В апреле Давыдов наконец принялся за дело.

«Дверницкий, — пишет Давыдов, — на другой день после выступления моего... перейдя быстро Буг.. вступил в наши границы, в Волинь».

Давыдов отправился следом. Он миновал захваченный польскими мятежниками город Замостье, «гарнизон которого, — равнодушно отмечает Давыдов, — не только не делал вылазок, но даже не показывался»; 4-го апреля (по старому стилю) Давыдов пленил несколько малых отрядов Дверницкого, шедших к Замостью.

Местные жители уверили Давыдова, что сам Дверницкий тем временем успел захватить город Владимир на Волини.

«Перейдя Буг, — пишет Давыдов, — по мосту, по которому следовал Дверницкий, я предал его огню и взял 6-го город Владимир приступом».

«Бой живо кипел! — вспоминает Давыдов. — Стар и млад, шляхта и духовенство, военные и мещане — всё стреляло из окон, из-за заборов и оград и, подобно лазам или лезгинам, не просило пощады. Бой продолжался непрерывно в течение 4-х часов».

Дверницкого в городе не оказалось: оказалось, что Владимир взял другой польский отряд.

«Я, однако, поставил здесь всё вверх дном и отбил навсегда охоту бунтовать», — сухо, но вместе с тем экспрессивно, отчитывается Давыдов.

В книге Ф. Смита «История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов» добавлены несколько подробностей, которые Давыдов опустил: «В числе пленных находились... граф Добржинский, адъютант Дверницкого и дворянин Чарнолуцкий, третий по своему влиянию, но по усердию же может быть первый. Дабы показать строгий пример, Давыдов приказал расстрелять его, а труп повесить на виселицу».

Вскоре ровно по тому же поводу во французской прессе выйдет заметка под характерным названием «Жестокость русских»: «Генерал Давыдов, Вольтер русских степей (а почему не Дидро русских полей? — прим. З. П.), знаменитый русский патриот 1812 года, обнаружив несколько ружей в доме г-на Чарнолуцкого в Волини, приказал расстрелять без суда этого злосчастного дворянина и затем повесить его тело на дереве на растерзание хищным птицам. Приговор же составлен задним числом. А грубые издевательства над женщинами, включая беременных?.. Нет такого преступления, которого он не разрешил бы своим солдатам». (Le Messenger Polonais, dernier No du 30 Juin 1831. En tout 34 No.)

Подтвердить французские фантазии сложно (откуда им было всё это знать в Париже? Почтовый голубь рассказал?), но и опровергать не станем: кто ж нам поверит?

Однако о том, что в городе Варшаве ксендз Пулавский призывает в своих проповедях истребить всех русских (ещё не добытых) и евреев (уже во множестве висевших на фонарных столбах), или о жене русского полковника Баха-

нова, повешенной поляками на глазах у дочери, французские газеты, по обыкновению, не писали ничего.

Тем временем войско Дверницкого разбил русский военачальник — генерал-майор Ридигер, старый знакомый Давыдова ещё по шведской войне.

Давыдов выгнал мятежников из Ковеля (те бежали, не дождавись сражения) и перекрыл дорогу Дверницкому к Замостью. Отступая, Дверницкий решил перейти на территорию Австрии.

(В мемуарах полячки Наталии Кицкой будет написано: «Сброд, движущийся по пятам корпуса Дверницкого, также перешёл границу. Прежде чем его задержала австрийская армия, москали перестреляли пятьдесят австрийских гусар». Какая похожая интонация: где-то совсем недавно мы читали точно такие же слова про «москалей» и «сброд»; осталось неясным лишь то, отчего корпус Дверницкого бежал от какого-то сброда, к тому же в соседнюю страну.)

«20 мая Ридигер, — пишет Давыдов далее, — под начальство которого я поступил... дал мне из Камарова следующее повеление: «...Принять под своё начальство все войска воеводства». Я прибыл 21-го в Люблин... Поляки, считая меня жестокосердным, трепетали при имени моём...»

Давыдову дали в командование двадцать эскадронов, казачий полк и несколько орудий.

Под Лисабысом Давыдов в новом деле — на этот раз с отрядом Скржинецкого.

«В этом сражении, — вспоминает он, — где Ридигер с 6000 человек одержал блистательную победу над 20 000 польских войск, я, командуя авангардом, состоявшим из конно-егерской дивизии Пашкова и двух егерских полков при шести орудиях, в продолжение трёх часов выдерживал напор неприятеля, значительно превосходившего меня числом (здесь сражалась против меня польская гвардия). Появление Ридигера, лично атаковавшего неприятеля за лесом, решило судьбу сражения. Благодаря Бога, я опрокинул неприятеля и соединился с Ридигером, который, слыша с моей стороны огонь, весьма опасался за меня...»

Следующей задачей Давыдова и переданных ему эскадронов была ловля вышедшего наконец из Замостья известного польского мятежника Хржановского.

В своё время, когда Давыдов впервые со своим отрядом проходил мимо Замостья, польские бунтовщики из этого города разослали информацию, что они, совершив рейд, разбили Давыдова и его казаков. Но так как Давыдов вообще поляков в тот раз не видел, а только читал их хвастливые реляции, для него было делом чести встретиться с Хржановским и лично спросить у него: где ж и каким образом тот его победил?

Однако Хржановский бежал так быстро, что Давыдову пришлось впоследствии признаться: противника он даже не сумел догнать.

25 июля корпус, к которому был причислен Давыдов, должен был переходить Вислу. Для обеспечения безопасного перехода основных сил, сто человек стрелков, один казачий полк и семь эскадронов конных егерей под командованием Давыдова получили приказ переправиться днём раньше и закрепиться на другом берегу.

«Весь противоположный берег, — вспоминал Давыдов, — был изрыт длинным валом, за которым сидели неприятельские стрелки, которые стреляли по всякому подходившему с нашей стороны. Итак, мне надлежало с сотнею стрелков держаться против превосходного числом неприятеля более суток, ибо... нельзя было перевести мою конницу, потому что река широка и быстра...»

«Все мы видели явную гибель», — пишет Давыдов. Но, признаемся, мы даже не можем поверить в это. Чтоб Давыдов — и погиб? Не нашёл выход? Не избежал смерти?

«...я, тридцатилетний солдат, — продолжает Давыдов, — хоть и сознавал вполне своё опасное положение, должен был беспрекословно исполнить повеление. Целый день трудились мы над исправлением плотов и паромов, подвергаясь во всё время неприятельским выстрелам.»

Этого Давыдова — в рубахе, возле воды, вспотевшего, чуть полноватого, уже седого, с усами куда длиннее, чем на большинстве его изображений, — до самой груди, и с небритой щетиной, тоже поседевшей, — представить отчего-то легче всего.

Река Висла, последний, казалось бы, бой. Фьють — как птичка — просвистела пуля: эта, значит, уже пролетела мимо; а вот — цок! — и в грудь рядом работавшего солдата угодила, и лежит русский человек у чужой реки с кровавым пятном на груди.

— Давайте, ребятушки, не подведите! — говорит Давыдов тысячу раз пронесённые до него и тысячу раз после слова, потому что никаких других нет и не надо. — Детушки мои, не оплошаем!

Солнце светит; солнце заходит.

«При наступлении ночи я стал готовиться к переправе; так как офицеры и стрелки обнаруживали большую робость, я решил сесть на первую барку и ехать с ними, можно сказать, на убой...»

«Когда уже совершенно стемнело, я начал садиться в первую барку с пятьюдесятью стрелками; по всему противоположному берегу затрещали выстрелы, град пуль стал осыпать нас, и в самое короткое время ряды солдат убитых и раненых пали вокруг меня...»

Как же не хочется прощаться с Давыдовым! И не будем.

«Едва только хотели мы отчалить, как послышались с нашей стороны крики: «Ваше превосходительство! Курьер!»

Давыдов выскочил из барки и при свете фонарей прочёл: отменить переправу.

...В 20-х числах августа Давыдов, уже будучи на другой стороне Вислы во главе отряда, сторожившего укрепления близ моста, разнёс две колонны польского мятежника Ружицкого, пошедшего на приступ.

В те же дни на центральной площади Варшавы объявили, что русский генерал Давыдов уже взят в плен, его везут в город и скоро принародно повесят. Распространение заведомо ложных известий уже тогда часто использовалось противником с целью поднятия духа у несчастного местного населения.

Вместо пленённого и связанного по рукам и ногам Давыдова в город явились русские солдаты.

Давыдов резюмирует: «Если исключим частные неудачи Гейсмера под Сточком, Крейца под Козиницами и Розена на брестском шоссе, все сражения были выиграны русскими, невзирая на то, что численная сила обеих воюющих армий мало в чём одна другой уступала до самого взятия Варшавы, и были случаи, в которых превосходство войска были на стороне неприятеля. Я говорю, как было, а не так, как печаталось в польских, французских, английских газетах и разглашалось российскими общемирными гражданами».

Давыдов получил по итогам польской кампании два ордена и звание генерал-лейтенанта. Из русских литераторов первого ряда до таких высот в сухопутных войсках не добирался более никто.

И даже если доберётся — персонажа, хоть сколько-нибудь сопоставимого с Давыдовым, представить едва ли возможно.

После войны Денис Васильевич вернулся в свою симбирскую деревню, ходил на охоту, написал десяток стихотворных шедевров, увесистый том отличных военных воспоминаний, близко сошёлся со всё более «правеющим» во взглядах поэтом Петром Вяземским, ездил с ним в Москву и в Пензу, ужасно тосковал о смерти Пушкина, один раз, признаться, влюбился в дочку соседского помещика, но потом прошло, или даже дважды влюбился, но в любом случае это уже не наше дело.

Вспоминал всех тех, с кем воевал и кого не стало, — и получалась целая вереница милых лиц, вояк и героев; по старой гусарской привычке баловался шампанским, и поднос ему приносил служка, одетый под Наполеона.

Умер Давыдов от удара, утром 22 апреля 1839 года, в возрасте 55 лет. Как будто какая-то пуля из ста тысяч пуль, пролетавших мимо него, летела вослед, летела и догнала.

Однажды у Пушкина спросили: как же он, будучи молодым поэтом, не поддался обаянию Жуковского и Батюшкова и не сделался их подражателем? Пушкин ответил, что обязан этим Денису Давыдову.

«Резкие черты неподражаемого слога» — вот что Пушкин видел в Давыдове, которого иные чудаки находили легковесным; один наш современник

пренебрежительно бросил о нём в литературном учебнике: «партизанские мозги». Но именно Давыдов научил Пушкина быть, как он сам сказал, «оригинальным».

Давыдов действительно был большой оригинал, во всех смыслах этого слова.

Здесь стоит на минуту остановиться и честно уяснить вот что: Денис Васильевич Давыдов не стал генералом, побеждающим в сражениях на несколько сотен тысяч человек, — в этом смысле он не равен Кутузову, Багратиону, Ермолову или Раевскому, и всегда осознавал свою подчинённость по отношению к ним. Нет, может, он и выиграл бы такое сражение, но ни Генеральный штаб и никакой государь император такого дела не доверили б ему никогда.

Безусловно, он на всех основаниях дорос до генеральских степеней, но всё-таки Денис Васильевич имел чересчур вольный уклад характера для военного человека. Он был слишком поэт для того, чтоб претендовать на фельдмаршала, он был слишком дерзок, слишком экспрессивен, слишком, наконец, чувствителен и лиричен.

Генерал Ермолов с любовью писал о Давыдове: «...в сорок лет он такой же повеса, каким был в молодые лета», — но мы помним, кого ещё именовали в России «повесами»: Пушкина, Есенина, — понимаете, о чём мы?

Генерал Алексей Щербатов, под чьим началом Давыдов воевал, выражался о нём ещё жёстче: «Хвастун своих пороков», что, впрочем, можно отнести к доброй половине русских классических поэтов: на этом основании и строился образ лирического героя. Но такие люди армиями не управляют.

И Суворов, и Ермолов, и Николай Раевский попадали в опалу и могли сказать такое, что у придворных удлинялись лица. Но всё-таки дерзки они были не до такой степени, чтоб назвать императора «тетеревом».

Конечно, даже самые мужественные генералы могли иной раз всплакнуть или увязаться за какой-нибудь юбкой очертя голову. Но всё-таки и лиричны они были не до такой степени, чтоб написать:

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений
И мимолётных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной...

(«Не пробуждай, не пробуждай...», 1809)

Однако именно эти черты, чувствительность и непредсказуемость, сделали Давыдова легендой. В конце концов, никакому генералу не взбрела б в голову идея устроить партизанскую войну — для этого нужно быть слишком свободным, слишком дерзким, слишком поэтом.

Русский народ при всей своей внешней суровости очень поэтичен и сентиментален, он ценит свойственные ему самому черты в тех, кого выбирает своими героями.

Да простят мне вольность сравнения, но Давыдов был, как ни парадоксально, в некотором роде Высоцким своей эпохи. Нет, положение он занимал несравненно большее, чем Высоцкий: всё-таки Давыдов был в полном и прямом смысле этого слова герой, государственный человек, военный тактик, во многих своих записках ещё и, как сегодня это называется, политолог, в поэзии — предвестник и товарищ Пушкина, а значит, всей русской литературы как таковой. Но всё-таки, в числе прочих ниш, Давыдов занимал и ту, что займёт впоследствии Высоцкий.

Давыдов как-то вспоминал о своём приезде в армию в 1831 году: «Удивительно и непонятно впечатление, произведённое моим появлением... Неужели тому причиной... несколько разгульных стишков, написанных у дымных бивуаков и, по словам педантов, исполненных грамматических ошибок? Проезд мой... был истинно триумфальным шествием! Не было офицера знакомого и незнакомого, старого или молодого, не было солдата, унтер-офицера на походе, на привалах или на бивуаках, которые бы, увидя меня и узнав, что это я, не бежали бы ко мне навстречу или, догнав меня, толпами не окружали, как какое-нибудь невиданное чудо».

Портреты его были на постоянных дворах, в девичьих комнатах, в крестьянских избах и, заодно, в кабинете писателя с мировым именем и современника Давыдова Вальтера Скотта.

Кого так ещё любили?

Дело тут, конечно, не только в народной славе, которой до Дениса Давыдова не обладал ни один русский сочинитель, и считанные обладали той же славой после (недаром всё-таки еврейское имя Давыд означает — «любимый»).

Давайте задумаемся, если у Давыдова в руке не сабля и не пистолет — чего ему не хватает?

Конечно, гитары: она была бы абсолютно уместна в его случае.

И тот самый знаменитый рисунок В.П. Лангера с изображением бородатого Давыдова — он вполне себе взаимозаменяем с фотографиями Высоцкого эпохи «Вертикали» и «Коротких встреч» или его проб на роль Емельяна Пугачёва.

А учитывая то, как легко от Пугачёва Высоцкий шагнул к поручику Брусенцову — офицеру и дворянину — в фильме «Служили два товарища», сходство Высоцкого и Давыдова приобретает ещё более глубинные свойства. Высоцкий мог



*«Храбрый партизан
Денис Васильевич Давыдов».
Художник В.П. Лангер, 1820-е гг.*

бы его сыграть, и никто б потом не поверил, что у Давыдова был высокий голос, а не густой и «хрипой».

Только героическая биография Высоцкого была по большей части выдуманная — спетая и сыгранная; гусарил он, всегда подсознательно желая быть если не «как Давыдов» (слишком далеко), то хотя бы «как Симонов». Ах, как бы ему это понравилось!

А Давыдов и был Давыдов, и судьба у него была своя: кочевая, пьяная, любовная, военная, наконец. И заодно с перцем остроумных эпиграмм и басен. На основаниях этого едкого остроумия Давыдова отчего-то стремились иной раз выдать за певца свобод и противника всяческого самодержавия, а он, как и Высоцкий, был консерватор, всю жизнь воспевавший статью, в первую очередь ратную, русского человека.

Но если зажмуриться и представить себе небритого, ещё молодого, между одной и другой войной запившего на недельку Давыдова, набренькивающего с утра вот такие стихи, то кто, пусть и со скидкой на эпоху, явится перед вами, как не Владимир Семёнович?

Я на чердак переселился:
Жить выше, кажется, нельзя!
С швейцаром, с кучером простился
И повара лишился я.
Толпе заимодавцев знаю
И без швейцара дать ответ,
Я сам дверь важно открываю
И говорю им: «Дома нет!»

В дни праздничные для катанья
Готов извозчик площадной,
И будуар мой, зала, спальня
Вместились в горнице одной.

Гостей искусно принимаю:
Глупцам показываю дверь,
На стул один друзей сажаю,
А миленькую... на постель.

Эти сочинённые в 1811 году Давыдовым стихи, между прочим, так и называются «Моя песня».

Считают, что эта интонация, так легко ложащаяся на элементарные аккорды, — ля минор, ре минор, ми мажор, — пришла к нам откуда-то из Одессы. Полноте — русские аристократы из породы татарских князей умели это делать не хуже — нет, даже лучше!

В первую очередь потому, что в случае Давыдова маргинальность была наигранной, а мужественность — природной; а в случае куплетистов, явившихся через полтора века, — ровно наоборот: природная маргинальность при наносном мужестве.

Мы здесь не собираемся даже в предположительном контексте размышлять о влиянии Давыдова на Высоцкого — его, скорее всего, не было; достаточно того, что Давыдов повлиял на Пушкина. И, если скороговоркой, на Фёдора Глинку, на Лермонтова, на Владимира Бенедиктова, а через него, да-да, на Игоря Северянина и на Георгия Шенгели; а дальше уже сложней история.

Вообще говоря, поэтическое мировоззрение «шестидесятников», при всей внешней броскости, было, скорее, банальным: Золотой век из них всерьёз слышала только Ахмадулина, а даже не Окуджаву (по крайней мере, до тех пор, пока не начал писать свои исторические романы; хотя внешнее влияние давыдовских «гусарских песен» на его куплеты очевидно).

Однако сложно аргументируемое сравнение Давыдова и Высоцкого имеет основой не прямое воздействие стихов поэта-партизана на поэта-барда, а влияние странных сочетаний в эпохе и судьбе на итоговый результат.

Наследие Давыдова принять больше никто не мог: тому же Окуджаве, кажется, даже в голову не приходило, что воспеваемое им гусарство — это в первую очередь не шумные застолья («ах, почти как у нас!») и едкие эпиграммы на вельмож («ах, почти как мы!»), а культ доблести и войны, бои, в которых не берут пленных, территориальные аннексии и безжалостное усмирение любых окраин: польских или кавказских, неважно.

У Высоцкого был самый бойцовский характер, он единственный мог всерьёз спеть тогда «Я люблю кровавый бой!» — не эти же мальчишки-имитаторы в разноцветных пиджаках из строчки «нас мало, нас, может быть, трое». Всё-таки Высоцкий был сыном офицера, и, доведись ему этот кровавый бой увидеть, он не сплоховал бы — в конце концов, и Давыдов первые свои военно-гусарские стихи, ставшие классикой, сочинил, не побывав ещё ни в одном бою.

Высоцкий, продолжим далее, тоже, как и Давыдов, поневоле жил наособицу от литературного мира, с некоторой завистью туда косясь и одновременно воспринимая царствующих там — как небожителей, которым сам он не чета.

У Давыдова, почти не публиковавшегося (стихи распространялись в списках), слава была, как он сам её называл — «карманная». «Карманная слава, — писал он, — как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казённых дозорщиков. Запрещённый товар как запрещённый плод — цена его удваивается от запрещения».

Но это же о Высоцком сказано!

Но, в конце концов, надо бы сказать, что ирландские барды замышлялись как летописцы, то есть исполнители песен о войнах и героях, а потом уже как сатирики; никто ж не знал, что спустя многие века бардами станут называть даже не сатириков, а новоявленных скоморохов.

В этом смысле Высоцкий — хоть и не самый большой поэт в России, но всё-таки бард в первичном значении слова. Это самое его большое достижение. Упущение же Высоцкого в том, что простоту и понятность он в себе культивировал толпе на потребу, и это слишком часто унижало его поэтическое имя.

А простота Давыдова была восхитительным новаторством — чернь, в том числе чернь прогрессивную, он презирал, зато одним из первых в России заговорил легко, точно, просто. Поэтому давыдовскую гарцующую лёгкость и точность его поэтического гусарского удара воспринял Пушкин и передал в русскую поэзию дальше, в будущее; а от Высоцкого в русской поэзии остался, по большому счёту, только его образ.

...Но этим странным сходством феномен Давыдова, конечно же, не ограничивается. За образом гуляки и гусара скрывался человек на удивление глубокий в тех вещах, что связаны с идеологией и политикой.

Неизбежно придётся вспомнить ещё одно его стихотворение, тоже, кстати, называющееся музыкально — «Современная песня»:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,

Модных бредней дурачок
Корчит либерала.

.....

Что ж? — Быть может, наш герой
Утомил свой гений
И заботой боевой,
И огнем сражений?..
Нет, он в битвах не бывал —
Шаркал по гостинным
И по плацу выступал
Шагом журавлиным.

.....

Всё исчадие греха,
Страстное новинкой;
Заговорщица-блоха
С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза —
Девка пожилая,
И рябая стрекоза —
Сплетня записная;

.....

И комар, студент хромой,
В кучерской прическе,
И сверчок, крикун ночной,
Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч — клоп,
Муж... женоподобный.

.....

Всё, что есть — всё в пыль и прах!
Всё, что процветает, —
С корнем вон! — Ареопаг
Так определяет.

Это ж удивительное — до обидного! — предсказание на все времена.

Причём обидное не столько тем, кого Давыдов так схоже изобразил (мы только половину явленной им галереи представили), — они себя всё равно не

узнают: они ж лучше, трагичней, глубже, — обидно тем, кто на весь этот неутолимый ареопаг вынужден любоваться из века в век.

Денис Васильевич вовсе не призывал их атаковать, он посмеивался над ними — значит, и нам придётся.

Но как же показательно выглядит то, что буквально во всех посвящённых Давыдову работах позднесоветского периода (и раннесоветского тем более) «Современную песню» литературоведение оценивало крайне скептически: эти чудаки писали, что в какой-то момент наш гусар «отстал» и новейших веяний «не осознал» — в общем, обижал хороших людей.

А «мошки» да «букашки» вдруг явились и всё это литературоведение съели — они уже при дверях стояли и перетапывались. Да если б только одно литературоведение!..

В сборнике своих стихов, который Давыдов готовил в конце 30-х (он выйдет уже после его смерти), «Современная песня» стоит последней — то есть перед нами в некотором роде завещание, которое не услышали.

Заладили: «гусар», «казак», «казак», «гусар»... А его политическая интуиция работала не хуже военной.

В записках своих Давыдов порой говорит о том, чего и не готовишься услышать от него, но о чём стоит думать, и так и сяк поворачивая и разминая его мысль: «...пока всепоглощающее «я» будет нашим единым рычагом, единым нашим идолом, до тех пор будут напрасны все наши усилия; и до тех пор наш удел один из двух: рабство или анархия».

Но если поспешно определить Давыдова в лагерь безоглядных консерваторов, тоже неизбежно ошибёшься, и в доказательство этой ошибки достаточно прочесть, скажем, это его рассуждение о России: «Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгонят отовсюду способных и просвещённых людей, кои либо удалятся со служебного поприща, либо, убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможности развиваться для самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству. Грустно думать, что к этому стремятся, не понимая истинных требований века; какие заботы и огромные материальные средства посвящены на гибельное развитие системы, которая, если продлится, надолго лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай Боже убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог великого успеха! Мысль, что целое поколение воспитывается на подобных идеях, ужасна... Мне, уже состарившемуся... не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет лишь окружено толпою неспособных и упорных в своём невежестве людей».

Ведь и здесь он был прозорлив тоже. И со времён своих первых беспощадных басен до самых зрелых лет — а приведённые выше жестокие предсказания написаны за три года до смерти — Давыдов, выходит, не менял своих взглядов. Более того: эти слова написаны в тот же год, что и «Современная песня»! Отсюда вывод, хоть не сложный в формулировке, зато не простой в осознании. Не стоит думать, что мы так далеко ушли от живших здесь до нас. Никуда мы не ушли. Беспечный гусар и казак Давыдов не хуже нас понимал, что страна и государство не всегда тождественны, а зачастую и враждебны друг другу. Но жил и рисковал жизнью и даром своим, исполняя приказы порой презираемой им власти — даже без надежды увидеть сиятельное возрождение матушки России. Но когда б ему указали на это и спросили: разве ж так можно? — он бы эдак махнул рукой и ответил: «А и что же теперь, голубчик? Может, и не воевать?.. Встать в хоровод с ареопагом и устроить похороны нам всем?.. Эй, как тебя... Наполеон! Принеси шампанского нам лучше».

Вот и вся история.

Так что послушайте лучше про другое.

«Неприятель усиливался всеминутно.

Грозные тучи кавалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещенных пред густыми пехотными громадами, быстро подвигалось прямо на него, стреляя беглым огнем непрерывно. Бой ужасный! Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям... Кости трещали!» Это Давыдов. Он завещал петь и побеждать.